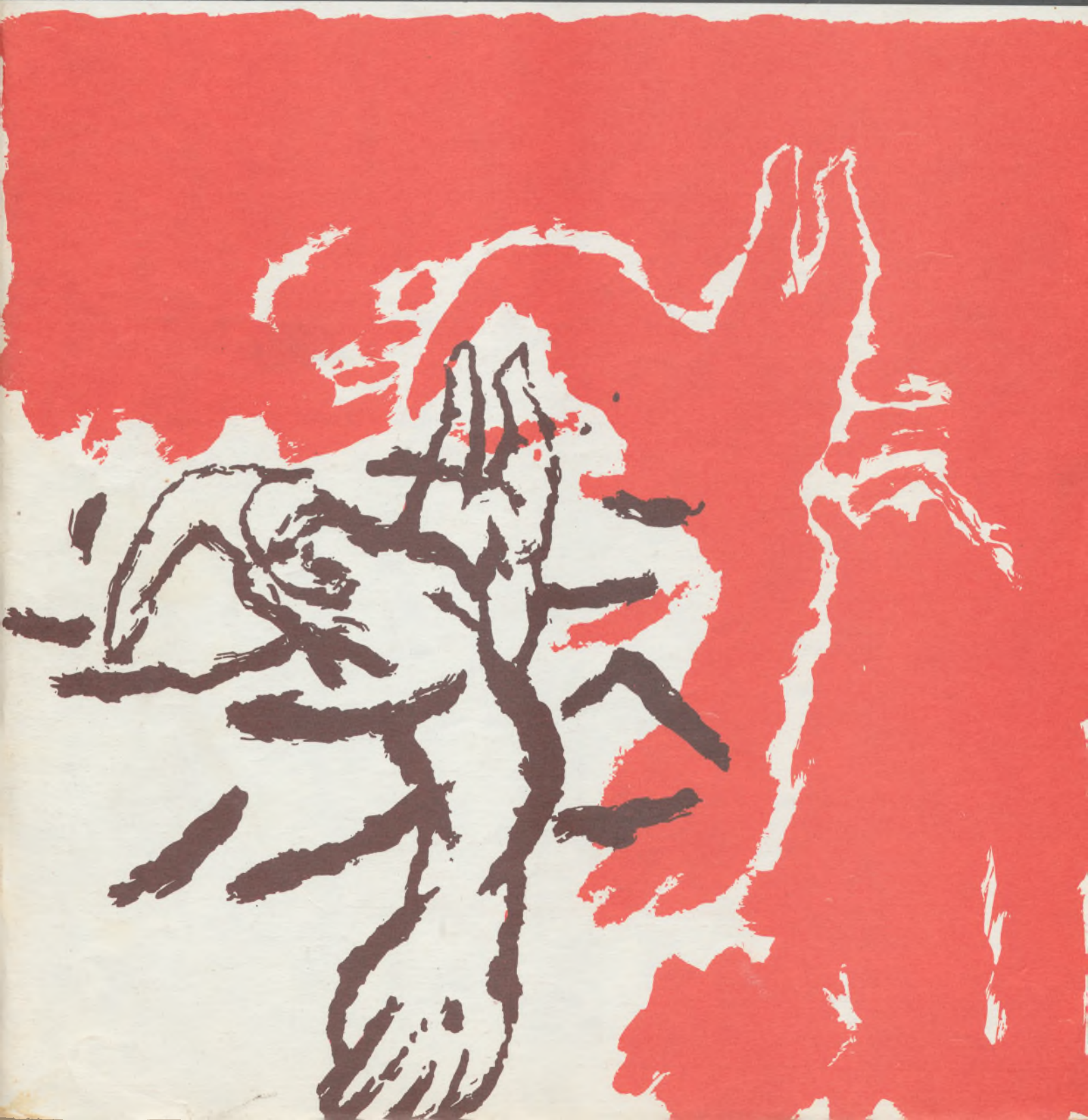


1989 № 6 (30)
ИЮНЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

НАДЕЖДА РЯБОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

Лиените Медне, Юрис Звиргздиньш, Владис Спаре. «Ода комарам» (1)
Леонид Брейкшс. «Об Отечестве и его защитниках» (10)
Владимир Высоцкий. Стихи (12)
Юлий Даниэль. Воспоминания (14)
Виталий Кальпиди. Стихи (20)
«Одно стихотворение» (22)
Владимир Алексеев.
«Один день за границей» (24)
Алексей Прокопьев. «Поэзия немецкого экспрессионизма» (28)
Георг Тракль. Стихи (30)
Георг Гейм. Стихи (31)

КУЛЬТУРА

Михаил Эпштейн. «Ленин — Сталин» (32)
Анна Хусарска. «Социалистический сюрреализм в Польше» (40)
Айварс Клявис. «Есть только надежда на будущее» (44)
Михаил Брашинский. «Кентавры в год Дракона» (48)

ПУБЛИЦИСТИКА

С. Л. Франк. «Ересь утопизма» (52)
Юозас Урбшис. «Литва в годы суровых испытаний 1939—1940» (59)
«Годы независимости в Латвии» (66)
«Заявление Советского Союза правительству Латвии от 16 июня 1940 года» (70)

ЛИТЕРАТУРА

Константин Вагинов. Стихи (72)
М. Агеев. «Роман с кокаином» (74)



ЛИТЕРАТУРА

ЛИЕНИТЕ МЕДНЕ,

ЮРИС ЗВИРГЗДИНЬШ,

ВЛАДИС СПАРЕ

ОДА КОМАРАМ

РОМАН

— Поможете двери открыть? — старик подошел к вагону, загнанному локомотивом в тупик за время кормежки телят. — Выгрузить я тоже уже не смогу... — он вопросительно взглянул на Роландса, безразлично кивнувшего ему в ответ.

Дверь открылась, и Никлавс попятился — схожие с пчелиными сотами, вагон до потолка занимали гробы, обтянутые разноцветным атласом.

— Нечего удивляться, — спокойно сказал старик. — У нас большая текучка кадров, одни приходят, другие уходят... Это интересно, все время новые лица. Даже разругаться всерьез не успеваешь... Грузим на телегу!

Йорген, не говоря ни слова, забрался в вагон и передал в руки Никлавса и Роландса первый из гробов — с пышными, из темно-коричневой ткани розочками на боках. Старик, усевшись на штабель обросших марью шпал, сквозь круглые стекла очков наблюдал за разгрузкой.

Руута, которая — невзирая на заправляющую ее головой мешанину из восточных религий — панически боялась мертвецов, могил и гробов, все равно — пустых или с лежащими в них, прокралась за телят и успокаивала свою совесть тем, что сил у нее все равно мало и помочь она ничем бы не могла.

Не те уже годы, вздохнул, подталкивая к двери очередной, отчего-то вдруг ставший очень тяжелым гроб, Йорген и смахнул со лба пот.

— Стой! Выпрыгнул! — заорал Роландс и выпустил из рук ношу, в руке остался лишь кусок багрового атласа, гроб ударился об землю, крышка отскочила в сторону и, на ходу ударив Роландса в грудь, через рельсы в сторону капустного поля побежал человек в полосатой одежде. Роландс застонал и, прижимая к груди алый цветочек, плюхнулся ничком в только что освободившийся гроб.

— Гробы нам делают в тюремных мастерских, — спокойно, продолжая попыхивать треснувшей фарфоровой трубочкой, прокомментировал старик. — Они так и бегут. Тропу уже в капустном поле протоптали, сорванцы! А я тоже в свое время от Колчака деру дал, жили мы в Сибири, я еще такой совсем мальчонка был, и тут приказ: всем идти на сходку, дадут винтовки и пошлют против красных. Я что, чего я там понимаю, ничего, а вот винтовку хотелось. Ну созвали нас всех, а тут один берет и им на ушко, что я, дескать, латыш. Тут эти офицеры принимаются из меня выпытывать, почему это я сюда пришел, а не сбежал в тайгу. А я, по глупости, и говорю — тогда отпустите домой, пойду в чека, может, хоть там винтовку дадут. Ну, они так переглянулись, расслышали, наверное не так, показалось им, что я сказал, что чех, — ну, это другой разговор, тогда они меня пошлют к генералу Гайде — по сей день это имя помню — пишут мне мандат, дают приличную пачку денег и сажают на поезд. И вот я все колесю и колешу... Чего я только в этой Сибири и в России не перевидал, и не расскажешь! Только в двадцать первом домой попал, потому и всякого, кому улепетывать приходится, пойму. Так в жизни устроено — один убегает, другой его ловит. Каждому свой хлеб надо зарабатывать...

— Сообщить надо... — приподнял голову над краем гроба Роландс, но, вспомнив, что у него самого в кармане чужой паспорт, откинулся обратно и прикрыл глаза, да, если бы директором тюрьмы был он, он бы тут же разгадал бы способ бегства заключенных! Они бы его так легко бы не обвели вокруг пальца! Этот, директор тюрьмы, сидит, наверное, в кабинете и рассуждает: каким это образом происходит несанкционированное уменьшение контингента заключенных? Может, они подземный ход вырыли? Или охрану подкупили? Кретин! Зачем ломать голову там, где надо быстро — и главное по схеме — действовать. Да встал бы, подошел бы к гробикам и отодрал бы крышку. Выходи-ка, пташка! А нет вот — просто

(Продолжение. Начало в № 3, 1989 г.)

удивительно, насколько ограниченными могут быть люди, и ведь таких еще назначают директорами тюрем! Или режиссерами... Вот наш, например тупой, как молоток, молотка сам в руках и не держал, а туда же командовать: декорации налево, декорации направо! В Ромео и Джульетте прибил к балкону лестницу, чтобы этот самый Ромео мог нормально, перед всей публикой, войти к своей Джульетте, а этот кретин орет: «Убрать, убрать! Что за самодеятельность, Шекспир не предусматривал!» (Шекспир /Sheakspeare/ Вильям, 1564—1616: английский писатель, род. в гор. Стенфорд, старший сын зажиточного торговца, вероятно обучался в Стенфордской гимназии /grammar school/, ее не окончил... Latviešu konversācijas vārdnīca, XXI sējums). Не предусмотрел и ему за это ничего?! А я если что предусматриваю, так мне за это премию долой? А Ромео как какая-то мартышка должен перед всеми, на посмешище, карабкаться к своей Джульетте...

— Чего тут сообщать, — помолчав, отозвался старик. — И что, вообще, о нем знаешь, чтобы сообщить?

— Но он же бежал! — Роландс сел, свесил ноги через край гроба и, желая обрести поддержку, обвел окружающих взглядом.

— А может ты сам — поездной воришка? И из окна выпрыгнул, когда тебя ловили? А? — ухмылялся Никлавс. — Откуда мы знаем. Может ты свою молодую и красивую жену удавил, чтобы ее золото прихватить? Может быть это о тебе надо идти сообщать? А ты, вообще-то, знаешь, что за попытку самоубийства грозит пять лет исправительных работ в лагерях, а за осуществление — так и все десять?

Роландс вытирал внезапно вспотевшие ладони выдранной из гроба атласной розочкой.

— Я обычно беру с собой, с общего стола, какую-нибудь горбушку для этих ребят, — рассказывал старик. — Сколько они с собой в этот гроб прихватить могут?! Этот, вишь, побегал, так, что пятки сверкали, а с другим — тот был спокойный такой — хорошо поболтали. Солидный такой господин, на бумаге мост построил. Комиссия по приемке приезжает, а в предусмотренном месте никакого моста, а денежки тоже тую-тую... Я его спрашиваю: куда ж ты, сынок, эти полмиллиона-то дел? А черт его знает, он только затылок чешет, сам не пойму, куда эти тысячи разлетелись... то одно, то другое, смотришь — мошна и пуста. Дал бедняге трешку, пусть побегает еще, пока не шлепнут. Да, безумное время — жизнь за бумажные рубрики отнимать...

— И правильно! Нечего воровать! — строго сказал Роландс. — Если бы в Риге на Домской площади установили гильотину, то все проблемы бы отпали. Как своровал — башку долой, и через полгода на чужое добро бы никто руку не протянул. Стянул парнишка карамельку — руку долой! Будет тогда соображать, как оставшуюся использовать! Всю жизнь будет думать сначала, прежде чем на чужое зариться!

— Я не могу это слушать! — из вагона высунула голову Руута. — Где Петерис?

— Послан за пайкой, должен бы уже вернуться, — вместе с Никлавсом вытаскивая из вагона очередной гроб, мрачно отрезал Йорген, все, о чем этот женишок трепется, уже слышано... и не только слышано, кое-что и пережили...

— Да, да! — Роландс приблизился к Рууте. — Я в газете недавно прочел: инженер три года копил на цветной телевизор, на другой день приходит домой и видит — его мелкий телевизор разбил. Он взял и тут же, с места не сходя, карапузику шестилетнему обе ручонки-то и отрубил. Чтобы в другой раз знал, куда руки совать. Хороший урок, чем раньше такой получишь — тем лучше.

— Но Роландс, — Руута выпрыгнула из вагона, подбежала к Роландсу и схватила его за лацканы пиджака. — Он же был ребенок, маленький, ничего еще не понимал...

— Все поначалу дети, — Роландс зло отодрал от себя

Руутины руки и подался назад. — А позже, если не проучить, ворами становятся...

— Роландс... — Руута, страстно вытянув руки, пошла на Роландса, — пойми, Роландс, нельзя человека перевоспитывать злом, только добром, нежностью, пониманием... Объяснением и примером!

Роландс упрямо сжал губы, отходил назад, наткнулся на лошадь, которая — как к пучку травы — потянулась губами к роландсовой бабочке, содрала ее с шеи, недолго пожевала и, неприязненно скривив губы, выплюнула.

— Никаких разговоров! — кричал Роландс. — Только смертная казнь может прекратить преступность!

— Ты!... — в бессильной ярости у Рууты сорвался голос. — Ты чудовище, если способен на такие мысли! А в детстве, разве в детстве ты сам не воровал у соседей клубнику?

— Я? — Роландс театрально прижал руки к груди. — Где моя бабочка?! — он настороженно осмотрелся, пальцы подергали воротник. — Кто сунул нос в мою бабочку?

— Но, Руута, — Никлавс, остановившись возле вагона с гробами, вмешался в разговор, — а разве смертная казнь не ускоряет смену кармических циклов?

— Где моя бабочка?! — не угоманивался Роландс, обшаривая карманы пиджака. — Что вы сделали с моей бабочкой? У меня там были защиты две царские десятки... Отдайте! Кошмар, я специально зашил их туда. Это никому не могло прийти в голову... Сойду с ума, куда она делась, только что ведь была...

— Это тебе за твои нечестивые речи! — ликовала Руута. — Всемогущий тебя покарал!

— По пятьсот рублей каждая... Тысяча рублей... Все мое богатство, мое будущее... — стонал Роландс.

— У кобылы под хвостом твое будущее. Пожевала и выплюнула, не нужны ей твои Николашки — сказал Никлавс, в самом деле, что ли, у этого болвана такие деньги? И подошел к Роландсу, который, шустро подхватив с земли влажную тряпицу, ощупывал ее быстрыми неловкими пальцами.

— Сожрала... — выдохнул в отчаянии, привешивая изжеванную бабочку под подбородок.

— Никуда не денутся, — встал старик. — В один конец вошло, из другого выйдет. В природе ничто не исчезает бесследно, только меняется...

— А я специально зашивал в бабочку, чтобы все время можно было носить с собой...

— Зачем? — резко спросил Йорген.

— Как зачем? — изумился Роландс и послушно, будто вызванный к доске, принялся рассказывать. — Я же не могу позволить себе болтаться повсюду так, без золота. Существует ведь такая вещь, как комплекс неполноценности, а раз у меня нет ни золотой тарелки, чтобы с нее кушать, ни золотой ручки на двери, то как мне быть? Я же из династии Габсбургов, мне это положено. По положению положено, нет разве? А если ничего такого нет, то у меня может развиться комплекс неполноценности. Вообще-то, мне нужны именно золотые ручки для дверей, но на них мне пока не хватает денег. Вот у моего отца были такие ручки, я знаю. Я это уже в детстве знал, только не понимал. Отец жил в каком-то... в каком-то пансионате, а мать работала там уборщицей. Чтобы рядом с отцом, вы понимаете? Она не была такого высокого происхождения, и поэтому они не могли жить открыто. А ручку от двери комнаты, в которой жил мой отец, она всегда снимала и носила в кармане. Понимаете? Снимала, чтобы не украли, потому что они были из золота — это ведь и дураку ясно! Я бы их наследовал, но мать умерла, когда я еще и в школу не ходил, а отец же не мог открыть, что у него была связь с уборщицей, хотя, по правде, мать тоже была из высокого рода, только обедневшего... Поэтому меня перевели в другой пансионат, своего отца я потерял, а в метрике мне написали, что я рожден вне брака и в графе «отец» поставили прочерк. Я пожил у одних родственников, потом у других, но они не были



Рисунок Зои Фроловой

аристократами . . . И тогда я принялся копить деньги, чтобы достать себе золотые тарелки и золотые ручки. Но пока у меня есть только Латышский Энциклопедический словарь (*Latviešu konversācijas vārdnīca*), я его весь прочел — чтобы получить образование, и эти две золотые десятки. Без них я не могу себя чувствовать нормально. Схема совершенно проста: я иду по улице, и у меня — единственного в Риге! — в бабочку защита тысяча. Ни у кого нет, а у меня, Роландса фон Габсбурга — есть. А теперь эта подлая тварь меня обесчестила, пожрала мои богатства, как мне вернуть их в свое владение? Я же не смогу теперь людям на глаза показываться . . .

Никлавс задумчиво рассматривал взволнованного Роландса, оравшего так, словно у него похитили решительно все, что только может принадлежать человеку, и оставшуюся жизнь ему придется скитаться по миру, притом — совершенно нагим. Что это, последствия падения? Да вряд ли, похоже, что дело серьезнее. Но какое-то зерно истины тут имеется. Пансионат, в котором снимают дверные ручки, — это понятно. Смерть матери, детский дом. Несколько раз усыновляли и отказывались — видимо, вполне нормальным он не был уже с рождения. Габсбурги, золотые тарелки . . . Наследственность? Возможно . . .

Йорген, уловив взгляд Никлавса, вопросительно pokrутил пальцем у виска. Никлавс пожал плечами и отвернулся — будь что будет! Если вовсе с ума свихнется, так выкинем из вагона и дело с концом.

— Как же мне теперь их вернуть? — заламывая руки, Роландс умоляюще обратился к старику.

— Так ведь сами выйдут. Ночью или утром. Собирать только поспевай . . . — успокоил его старик. — Тебе, парень, только и остается, что задницу стеречь. Да уж выйдут когда-нибудь.

— А если нет?

— Ну, тогда что поделывать . . . — безразлично отозвался старик.

— А прибить его нельзя?

— Э! Вот уж нет! — старик поднялся. — Кобыла — имущество государственное, убьешь — тюрьма. Такая лошадь тысяча пятнадцать стоит. А еще и мне, заодно, навесят хищение государственной собственности. И, в конце-концов, — взмахом руки он прервал желавшего что-то возразить Роландса, — ты же сам только что сказал, что всех надо к стенке. Роландс, помрачнев, замолчал — смертная казнь никаким образом не вписывалась в его схему достижения стабильного и прочного положения. Что уж тут тарелки? И дверные ручки. Нет, против смертной казни вообще-то возражений у него не было. Никаких! Не одна коронованная голова в свое время . . . Клац — топор палача, и конец Карлу Австрийскому, клац — катится с эшафота голова Луи XVIII, клац — следом головка Марии Антуанетты. А один из его предков, Максимилиан Габсбург? Мексика, полдюжины дикарей в сомбреро, стволы подняты, бабах, огонь и дым. А родственники, Романовы? Шлеп и готово! Но вот так вот — на станции, и названия-то которой не знаешь . . . И, притом, когда еще не достигнут соответствующий его положению статус! Надо изыскивать выход, немедленно! Палачей надо подкупить! Конечно же, схема очень проста — каждому из них он даст по золотой десятке. Значит, как сказал этот старик, надо быть начеку! Надо добыть десятки из нутра этой кобылы. Все просто — Роландс широко улыбнулся — главное, есть схема, остается действовать!

Руута, которая уже было собралась прижать несчастного к груди и успокоить, в растерянности созерцала, как он, счастливо улыбаясь, вбежал в кусты — едва не сбив с ног Петериса, шедшего по тропинке с полной сеткой. В ближайшем селении он купил — в магазине у Лони — целую кучу разнообразных и самых дешевых консервов, хлеб и три бутылки вина «Волгас», к тому же не удержался от искушения зайти в столовку к Марии и выпить там восемь поллитровых бокалов пива.

— Все достал и даже кроме того! — сообщил слегка виноватым голосом со стыдливо-застенчивой улыбкой на

устах. — Буфетчица, стерва, сказала, что с собой не даст. А я ей — николая, и взял в магазине.

— Моего Николая! — из кустов выскочил Роландс.

— Что это у вас тут за гробы? — Петерис задумчиво оглядел груженую телегу.

— Он прибрал моего Николая! — Роландс судорожно вцепился в спину Петериса.

— Как шас ногой по этому твоему николаю заеду, будешь знать как языком молоть! — Петерис осмотрелся. — И чего мы этого кретина с собой взяли? Он же кретин, сразу ведь видно. Только взглянуть — и видно. Да любой, как только эту капустницу у него на шее увидит, сразу скажет, что кретин, но где вы раздобыли эти гробы? Это здорово, мы их продадим и . . .

— Ну-ну, юноша, не так шустро! — старик встал перед возом. — Это мои гробы!

— Ваши? Ну да, ваши . . . — Петерис мгновенно размышлял. — Но разве вам одного не хватит? А остальные вы бы могли оставить нам. А мы бы реализовали. Остальным ведь тоже надо!

Никлавс, нагнувшись к Роландсу, объяснял тому разницу между Николаем и николаем. С одной стороны — кусок золота, а с другой — метафора, так сказать, образный способ выражения. Грубый материализм и полет творческого духа. Роландс шлепал по колену прутиком ивы, который только что срезал в кустах, и согласно кивал — да, виновата во всем кобыла.

— Петерис, ты опять пил! — Руута повернулась к Петерису, вполне уловить ход рассуждений Никлавса она не могла. — Почему ты пьешь в одиночку? Это не хорошо! А гробы эти принадлежат дяденьке. Их там, во дворце, ждут другие дяденьки и тетеньки, им всем нужны гробы-ки. У нас на них нету никаких прав.

— Да плевать на эти гробы, и без них обойдемся, а пил я потому, что меня никто не любит, и я, между прочим, не так уж этого гроба и жажду, мне еще пожить охота. Когда мы вчера сядились в поезд, я едва не разбился, чертова жизнь . . . Эти гробы настраивают меня философически, вот, Никлавс, открой! — он кинул бутылку, которую Никлавс подхватил в воздухе.

Йорген потерял руки, а старик спешно извлек из своей торбочки стаканчик из толстого полированного стекла. Ведро с «Агдамом» — осточертевшего уже всем по горло — стояли в вагоне, размещенные, чтобы не перевернулись, между кипами сена и тщательно прикрытые старыми газетами.

Это «Волгас» куда вкуснее того, что вчера, — думала Руута, отхлебывая свою долю, а Петериса никто не любит. Бедняжка . . .

— Ты, Петерис, когда в следующий раз в лавочку пойдешь, не забывай, что на общие деньги надуваться пивом нехорошо, — завистливо поучал Никлавс, прекрасно сознавая, что в подобной ситуации он бы действовал точно так же.

— А когда она будет делать свои дела? — спросил Роландс, который одним глазом постоянно держал в поле зрения зад кобылы, одновременно вырезая симметричные орнаменты на очищенной от кожицы белой и мягкой древесине прутика.

— Это никогда не угадать, — отозвался старик. — Лучше выпей-ка глоток.

— Я сейчас пить не могу, — Роландс подвинулся ближе к корме лошади. — Я занят!

— Остальным больше достанется, — прорычал Петерис, протягивая стакан старику.

Отхлебнув глоток — чтобы дрожавшая рука не расплескала вино — старик высоко поднял стакан.

— Если уж мы заговорили о лошадях, — сказал он, сквозь желтоватую жидкость рассматривая Роландса, — то я был среди счастливых, присутствовавших на премьере «Золотого коня» . . . Да, бежит времечко, тогда мне ведь и присниться не могло, что когда-нибудь я повезу вот так вот гробы, один из которых, скорее всего, достанется и на мою долю . . . Да разве это гробы? Их же делают

теперь из стружечных плит, будто бы подушки из опилок мало. Знающие люди говорят, что уже на второй год стенки прогнивают, а крышка разваливается. А чего еще ждать, когда их делают из обрезков от секций. Ну, из того, что остается после этой крапчатой мебели, которую пальцем ткни и дырка будет. В наше время ничего уже прочного не осталось...

— А кто для вашего пансионата делает надгробья? — утирая влажные губы, осведомился Йорген.

— Но почему она ничего не делает? — поскуливал Роландс, мотая белым прутиком.

— А ты посвети, тогда у нее живот размягчится! — посоветовал ему Петерис.

Руута не возразила — после стакана выпитого она ощутила желание продолжить спор о смертной казни, и гробы ее уже почти не пугали, такие обычные продолговатые ящики, пенальчики, куда помещают трупиков, ничего особенного — Руута погладила скользкую атласную ткань.

Роландс тихо насвистывал колыбельную Моцарта.

— Надгробий нам никто не делает, — старик подвинулся к Йоргену. — На общем собрании пансионата постановили устроить братскую могилу. Коллективизм не только в жизни, но и, так сказать, после смерти. Так что нам индивидуальных камней не надо. Есть общий памятник со словами, которые вырубил в граните сразу после второй войны: «Здесь в Боге покоятся атеисты пансионата «Спридитис»».

Никлавс, сидя с краешку, покусывал травинку и слушал, а в памяти всплыл потерянный дипломат с документами, те четверо уже вторую неделю торчат в «телевизоре», и никто не вправе их выпустить, потому что бумаги у меня, а меня нет, то есть я есть, но нету бумаг... И теперь им там торчать, пока не сгниют, и им привезут такие же точно гробы и сложат туда, и напишут: «Здесь в Боге покоятся четыре неизвестных атеиста», а, может быть, их самих заставят делать гробы, и тогда они сбегут, один за другим, убегут через капустное поле и исчезнут в лесу — без паспортов, без имен и отчеств...

— Первый директор хотел вырубить на камне всех обитателей пансионата в алфавитном порядке, — продолжал, отхлебнув вина, старик, — чтобы ни у кого не возникло подозрение, будто у нас имеется индивидуализм, либо существует каста привилегированных. Такое надгробие можно любой комиссии показывать, все — по алфавиту, никто не выделен, никто не обойден, все демократично... Алфавитный порядок — это то, что надо для всеобщего равенства. Перед алфавитом все мы, исключая, разумеется, неграмотных, равны. Неграмотным не осознать его демократического характера. Но ничего не вышло. Апинитис, наш ветеран, первым помирать отказался, а до смерти свое имя на памятнике поставить позволить — тоже отказался, не к добру это, видите ли. Я уже было «за» голосовал, но Апинитис со своей фракцией получил большинство. Глупости это, видите ли, по его мнению...

— Почему глупости? — спросил Роландс. — Все совершенно правильно, все по определенной схеме, а вот я все свищу, а она не реагирует. Может, ей Моцарт не нравится? Может, что-то другое надо?

— А у вас какая фамилия? — спросил Никлавс.

— Моя фамилия? — переспросил старик. — Залцманис* я, Петерис Залцманис. А ты, парень, «Варшавянку» насвисти!

— А что она тогда сделает?

— Уж и не знаю, что она делать будет, а мы в свое время с этой песней на устах больших дел натворили. Полмира кверху ногами перевернули. И что, получили что хотели? Ну ладно, скинули с телеги истории Романовых, а кто в ней остался? Кучер, кучер исправный остался, никто его не тронул... Ну ладно, и мне пора за вожжи, — Залцманис вытряс в рот последние капли вина и медленно поднялся на ноги.

Никлавс задвинул двери вагона.

— Завтра к нам прицепят свиней, — коротко перегово-

рил с проходившим мимо железнодорожным работягой, сообщил Йорген.

— И ночь в нашем распоряжении! — добавил Петерис таким тоном, словно речь шла минимум о Варфоломеевской ночи.

Залцманис шел впереди, ведя кобылу за поводья, лицо его было украшено выражением высокой серьезности, такое бывает у иллюзионистов перед демонстрацией острого фокуса-покуса. Никлавс и Петерис — каждый со своей стороны — плечами поддерживают груз, который явно намеревался рассыпаться, они перегрузили эту старинную, барских времен телегу.

Йорген, утомленный телатами и гробами, ковылял за телегой с ведрами в руках и задумчиво созерцал небольшую речушку, подобно Троянской Меандре, петлявшей между ближними пригорками. Сгушающиеся сумерки слили ее с купами ив и вырисовывали перед взором Йоргена острую меандрическую линию, в которую — на ходу избавившись от передних колес и гробов — плавно въехала уже двуколка, запряженная козлом, а в двуколке восседал на бочке с вином, вытянув свои силеновые копыта, сам Йорген, увитый лозами винограда и дубовыми листьями, а на каждом колене его восседало по страстной ваханке. И одна закричала: «Нога в колесо попала!», а Силен Йорген сладострастно почесал поросшую седым волосом грудь, со скрипом, схожим с хором несмазанных соловьев, на волю вырвались нижние ветры и, распевая на ходу: «В кол-лесо поп-пали ног-ги!» все въехали в Рим.

Рим, Рим, Antica Roma, в этот раз не спасешься! Сойдя с двуколки, Йорген в охапку обеих, поводья выпустил — пусть козел идет куда хочет. Рим Йоргену известен на уровне первого класса гимназии, но и этого достаточно! Семь холмов — раз, — пересчитывая, он сгибает пальцы, — развалины Капитолия — два. Форум, Каракаллы, бани Диоклетиана — все на месте...

Кто там тенью крадется вдоль стены? Ну, конечно, Гоголь! Острый нос все вынюхивает, глаза регистрируют. А кто там склонился и роется в куче картин? Великий тайный советник Иоганн Вольфганг Гете. Но как же так — из кучи жиденьких картинок он еще и покупает самую плохую! Консультант, лукавый Мефистофель, посмеивается втихомолку: это тебе, старина, не коллекция минералов, тут разбираться надо! А это кто там, бледный и замученный, как картина прерафаэлиты? Ну, конечно, собственной персоной Данте Габриэль Росетти, художник и поэт...

Йорген в Риме, и Рим вокруг Йоргена — со своими Каллигулами, Тибериями и Неронами, но эти пусть подождут, он пойдет к своим корешам, к коллегам... и плоскогрудые теннисистки пусть подождут, и грудастые колхозницы со своими ракетками и кулями ржи подождут, те сквозь любой худсовет насквозь и прямоком на Вэ-дэ-эн-ха-ха-ха! Надо старинного приятеля Микеланджело отыскать, этрусков, Манцу, Кальдера, Бранкусси. Куда это они подевались? Или что, в самом деле, скопом скуплены и увезены в Америку? Хотя, и говорят и по телевизору показывают — и там нету воздуха, все мафия, террористы, аферисты, карманные воришки... Тибр засвиначен, как и все остальное. Но небеса, небесно-голубые итальянские небеса должны же остаться! И мрамор? И приличное зубило?! Он мог бы высечь им Рууту — грудь на месте, зад... ну, с этим делом у латышек так есть — либо вовсе нет, либо за много... Но попробовать можно, вот ведь, прямо под ногами приличный обломок колонны, надо ребят позвать — Никлавса, Петериса и Роландса — пусть помогут оттащить...

Йорген взглянул назад, там, изрядно подотстав, плелся Роландс. Начинались сумерки. Кобыла, наконец, сжалась над ним — по доломитовым плитам старой, обсаженной мощными дубами аллеи медленно катились конские яблоки. Роландс в лихорадочной спешке тыкал в них острым концом прутика — ничего, опять ничего! — и втихомолку ругал лошадей... всех лошадей и тех, кто в своей глупости когда-либо садился на них, обзывал кавалерию свинством, Чапаева — дураком, обругал легендарного Буденного

* Zalcmanis. В латышском алфавите Z — предпоследняя буква.

и донских казаков, Наполеона и Александра Великого. Руута, против несчастного ограбленного, шла рядом и одну за другой зажигала спички. В их дрожащем свете Роландс, как комья теста, руками тискал конское дерьмо.

VII

— Гробики! Гробики привезли! — раздалась радостные восклицания, и небольшая серая кучка людей, махавших с крыльца белыми платочками, пришла в движение и направилась к телеге.

— Заждались . . . — удовлетворенно бросил через плечо Залцманис, чувство исполненного долга расправило его плечи, и он с удалью потрянул вожжами.

Согбенные фигуры, постукивая тростями, обступили телегу, негнушными пальцами ощупывали гладкий атлас и удовлетворенно кивали головами.

На крыльце, к которому вел пологий, возвышающийся въезд, сутулый старик колотил деревяшкой в дно проржавевшей детской ванночки, которая, подвешенная на проволоке, качалась между колоннами крыльца — подгнившими, укрепленными железной проволокой и кусками досок. Сквозь окна без занавесок на обоих этажах виднелись голые электрические лампочки, горевшие под потолками; по коридорам, то и дело прижимая к засиженным мухами оконным стеклам свои крапчатые лица, сновали старики и старухи, взволнованные, как детвора в сочельник.

Громыхла жест ванночки, и Петерис вспомнил детство, кинотеатр «Звайгзне» и фильм, название которого он позабыл: по пустому полю плотными рядами в психическую атаку идут белогвардейцы, грохочет барабан: тратата, тратата, тратата . . . — трещит пулемет, один за другим падают люди в первом ряду, их место занимают задние, светит солнце, в небесах щебечет жаворонок, а барабанщик, высоко вывернув локти, стучит: тратата, тра . . .

— Прошу без паники, хватит на всех! — предупредительно крикнул Залцманис. — И по списку, в порядке очереди, в алфавитном . . . — он извлек из выцветших, обвисших галифе листок из тетради в клеточку, напялил вторые очки поверх уже имевшихся на носу и, в тетрадку не глядя, выкрикнул:

— Апинитис!

Сунув в карман листок и верхние очки, Залцманис взгляделся в толпу.

— Ну, иди, выбирай! — разглядев Апинитиса, он мотнул головой в сторону телеги. — Твой номер первый.

— Я сделаю это, за тем и пришел, — от толпы отделился старик с ярко-полосатым женским платком на шее, вдоль его костлявого лица с кривым орлиным носом и близкосопряженными блестящими глазками свисали остатки длинных прямых волос, сквозь которые торчали синевато-багровые оттопыренные уши. Он кинул оценивающий взгляд в сторону телеги, мгновение, присклонив голову, разглядывая освещавшую крыльцо лампочку, распрямился и дружинистым шагом направился вперед.

Взойдя на проржавевшую ступицу тракторного колеса, поддерживавшую одну из колонн крыльца, он воздел руки к небу. Толпа немощных подалась назад.

— О, не вводи меня во искушение, юница! — вместе со словами изо рта Апинитиса вылетали мелкие брызги слюны. — Беги же прочь, об умерших помысли, о тех, что здесь погребены! Молю тебя юница, в грех новый не вводи меня, не дай мне ненависть мою припомнить! Отыдь, прошу тебя!

Залцманис, схватив за руки Рууту и Никлавса, втащил их в молчащую толпу.

— Рассказ мой будет краток, ибо остаток дней моих короче даже этого рассказа, — скорбно продолжал Апинитис, опершись на колонну. — Давно уж изломаны кости мои мешками пшеницы и ржи; и плуг, разрыхляя ниву, разбил уж и чресла мои — отведи меня, ты, гостья, вижу я приют желанный, упокой меня на веки.

Петерис ощутил, как по его позвоночнику потекла струйка холодного пота, судорожно вцепился в руку Роландса, и они оба молча и напряженно стояли рядом,

подобно двум мальчуганам, которым в темную осеннюю ночь — а еще и громадная туча закрыла месяц — предстоит дорога через кладбище, полное привидений и прочей нечисти.

— Со смертью борюсь, — Апинитис оттолкнулся от колонны. — Природе вопреки своей добро желаю сотворить.

Петерис облегченно вздохнул и отпустил руку Роландса.

— Ох, я чувю, понимаю — не уж мой ли день последний? — Апинитис вновь загнал Петериса под свод кладбищенских ворот, те проржавели и — оттого, несмазанные — немилосердно визжали. — О, позволь мне дожить до утра . . . Полчаса . . . Хоть молитву прочесть! О, кто это — как холодна рука его — берет меня за руку! И стиснул и затруднил дыхание мое?!

Апинитис захрипел и схватился рукой за горло. Руута, вскрикнула, прикрыла рот ладошкой и огляделась в отчаянии — почему же никто не спешит на помощь? Разве они не видят, что бедному Апинитису плохо? Он так боялся смерти и дурных презнаменований, а тут этот Залцманис со своими гробами . . . Он же его убил этим!

Апинитис, опершись о колонну, захлебываясь боролся за дыхание, собрался и вперил в темноту суровый, обвиняющий взгляд:

— Себе на горе выпустил стрелу ты, чужеземец! — вскричал он, в предсмертной агонии выбросив вперед руку, Петерису почудилось, что кривой палец направлен точно в его грудь. — Ты в состязании участвовать не будешь, ибо — немедленно умрешь! Свалил ты мужа, что был выше всех мужей!

Старушки осуждающе качали головами, и Петерис спрятался, пригнувшись, за спиной Никлавса.

— Поздно . . . — рука Апинитиса упала вдоль тела. — Поздно для него, поздно для меня. Серая вдова . . . ждет меня. О боже, обрывается дыханье . . . Ну, до свиданья, дети мои милые . . .

Громко всхлипнула какая-то старушка.

— Ну, помру я, как ты хочешь — так ответь, кому в том радость? — Апинитис сошел со ступицы и, подойдя к краю крыльца, старался разглядеть в толпе спрятавшегося Залцманиса.

— Черный петел уж пропел . . . — выдохнул он из последних сил и опустился на деревянную ступеньку.

Над ним склонился лысый человек в замараном белом халате с красным крестом на спине. Толстое тело вкупе с крестом и удивительно тонкими ногами и худыми руками навело Никлавса на воспоминание о пауке-крестовике. Паук Красного креста, паук-красно-крестовик — автоматически перебирал он.

Йорген мысленно ваял надгробие: коническая колонна, обвитая хмелем * . . .

Руута шмыгала носом.

— Умер, — фельдшер с трудом разогнул спину. — Хоронить будем немедленно, это отвечает санитарным требованиям. Прошу родственников покойного получить останки покойного!

Петерис заозирался, видимо ожидая, что из старого парка, где по ночам ухают филины, а дорожки заросли настолько, что едва различишь среди разросшихся кустов, тут же выйдут одетые в черное родственники с белыми носовыми платочками у покрасневших лиц.

— Настоятельно прошу родственников покойного получить останки покойного! — повторил фельдшер. — Считаю до трех . . . Раз, два, два с половиной . . . Что же, усопший был сиротой? Нет родственников?

— Я! Я родственник! — вперед вышел Роландс.

Пронесся вздох облегчения, старушки заплакали с новой энергией. Крупная женщина с широкими костлявыми плечами содрала с головы синий в горошек платок и с гульким всхлипом погрузила в него нос.

— Вы можете проститься со своим . . . Э, кто он вам . . . — запнулся фельдшер.

— Папа . . . нет, дедушка . . . — выдохнул осипшим голо-

* Apinis — хмель (латышск.)

сом Роландс, присел на корточки над Апинитисом, засунул руку в карман и вытащил горстку мелочи, среди которой ярко блестели две золотые монеты. Минуту в тупом изумлении разглядывал их, посмотрел на обвисшие концы бабочки и старательно разместил чудесным образом возвращенные ему богатства на веки Апинитиса.

Два старика привычными, согласованными усилиями сняли с телеги гроб и осторожно переместили в него вялого Апинитиса, двое других принесли крышку. Роландс стоял рядом, грустно склонив голову, мимо него проходила прихрамывающая, всхлипывающая вереница соболезнующих, жала ему руку, выдыхала слова сочувствия и ободрения. По щеке Роландса стекла длинная тусклая слеза.

— Держись, — сквозь зубы выдохнул Никлавс и, разделяя общие чувства, крепко пожал руку.

Руута прослезилась, прижалась щекой к измаранному, пахнущим телятником лацканам свадебного пиджака, и Йорген отвел ее в сторону. Петерис не смог перебороть искушения хоть на миг прикоснуться к мерцающему золоту и, преодолев присущий ему с детства страх перед покойниками, переместил монетки, несколько съехавшие на щеки Апинитиса, повыше.

Старика нежными, грациозными движениями установили на гроб крышку. И снова ее сняли — так кулинар приподнимает крышку над тортом, чтобы еще раз перед упаковкой продемонстрировать покупателю кремовые цветочки. Выжидательно отступили.

В руках старушек одна за другой загорались хозяйственные свечи. Никлавс, Петерис, Йорген и согбенный пансионер, которого поддерживали еще двое других, взвалили гроб на плечи и вошли во дворец. За ними, взявшись за руки, следовали Роландс и Руута, три старика, вместе которых содержали переданные им Йорженом ведра с вином, крышка гроба, под которой стучали тростями двое похожих мужчин, а далее — длинная вереница, которую — встав попарно — образовали все остальные. В арьергарде — фельдшер, костлявый старик — тот самый, что барабанил в ванночку, поджидая Залцманиса, — на его груди болтался пионерский барабан, и Ванагс, усадивший себе на закорки своего старого боевого товарища, китайца Ван Ли, облаченного в синий стеганный халат, из кармана которого тот вытащил бамбуковую дудочку и поднес к губам, черными — из под опухших век — глазами глядя поверх голов, туда, вдаль, там — далеко-далеко — Хуанхэ, Желтая река... рисовые поля, желтоглазые Уссурийские тигры, Маньчжурская железная дорога, холодные мраморные купола Петрограда, туркестанские пустыни, верблюды... вынесенный на плечах Ванагса из лагерей интернационалист Ван Ли ждал теперь, когда его донесут, чтоб его кости донесли до далекой Срединной империи и погребли бы, чтобы соединился прах с жирной глиной, чтобы дух сквозь крыши пагод поднялся бы в голубые небеса, вечные и единые, как знак тай-цзы, как неразделимое соединение инь и янь, постукивая палочками, кисточкой и тушью рисуя тонкий иероглиф.

Ведомое Никлавсом шествие блуждало долгими коридорами, из комнат, вынося кресты, выглядывали старушки. «Кого хоронят? Кого хоронят?» — осведомлялись они, и, взявшись по двое за руки, присоединялись к процессии.

— Мы хороним дедушку! — громко разъяснял Залцманис.

— Вон тот, что за гробом, это его внучек, приехал проститься, из Америки! — добавил кто-то.

— Внучок из Австралии... Из Новой Зеландии... Из Прейлей... — шепотки достигли Атиньша Барабанщика вместе с ведром вина, из которого каждый зачерпывал личной мензуркой для лекарств, всегда носимой при себе, в кармане.

— Внучек, внучек, внучек, .. — глухо гудело в склоненной голове Роландса, слезы затуманивали глаза. Дедушка умер, так внезапно... Внезапно потерял жену, ребенка, которым она могла бы одарить его, отца своего не узнать, мать позабыть, а теперь вот, еще и дедушка. Но сколь воз-

вышенно обратился он перед смертью к народу, как настоящий государственный муж, в полном соответствии со своим положением.

— Поворачивай направо! — чье-то взволнованное, пахнущее «Агдамом» дыхание шепнуло в ухо Никлавсу.

— Налево, — возразило другое.

— Теперь прямо! Полный вперед!

Не вслушиваясь в нарастающие за спиной шепотки, Никлавс шел, следуя лишь своей интуиции, которая завела его в подвал и продемонстрировала ему обшитые железом двери. Проходя мимо, он на миг заглянул в маленькое зарешеченное окошко и увидел там черную темноту — там, где на ворохе истлевшей соломы согнулся над листком пожелтевшей бумаги, на котором начертано: «Выпустите меня! Я не сумасшедший, я архитектор!», пожелтевший скелет с пыльным гусиным пером в бестелесой руке, протянувшейся к заросшей паутиной баночке засохших чернил. Несся ты через всю Европу, мечтал построить новый Версаль, новый Сан-Суси, где в танце кружатся дамы в кринолинах, развеваются напудренные косички кавалеров, веселый перестук каблучков, от всего этого голова кружится, все идет наперекосяк, оказываешься в этой чертовой халупе, запертый, а в твоём дворце устраивают приют для убогих, а тебе даже приличных похорон не устроили, — Никлавс ускорил шаг.

Процессия растягивалась, все удлиняясь и удлиняясь, на одном из поворотов ее начало пересекло свой же конец, люди, богобоязненно кланяясь и чокаясь мензурками с вином, разошлись, а барабанщик оказался во главе шествия.

Сзади, одиноко теперь, пыхтел фельдшер. Он не спешил, он свою роль уже отыграл, красивая смерть, дай мне боженка такую же! Да ведь не даст же, знаю, ни за что не даст! Сердце как у жеребца, на инфаркт рассчитывать не приходится, тем более с такой биографией, — вздохнул он.

Вздых усилился, отраженный высокими потолками, и, описав иривую дугу, отяжелев вырвался из груди Петериса, гроб тупо давил на плечо, в голове свербела мысль: эх, почему я так не могу: как Рокфеллер, как граф Монте-Кристо, сунул руку в карман, достал горсть серебра, швырнул в толпу. Пусть жрут, пусть подавятся, пожирая своими золотыми зубами, буржуи, нувориши, железные им не подходят, золота им подавай... Петерис в гневе спутал шаг, споткнулся, за тонкой древесностружечной стенкой гроба раздался легкий стук, дважды чисто звякнуло — катятся денежки, укатились, и глазам покойника придется открыться: будут, остекленевшие и слепые, пятиться в прокопченный потолок — все время, пока мы идем, а идти мы будем долго, идти и идти, и нет нашему пути конца и не будет...

Когда Петерис уже потерял последние надежды попасть хоть куда-либо, они, через небольшую боковую дверь, вошли в зал.

Зажатый между косяком и гробом, Йорген засмотрелся — тут было на чем остановиться взгляду: громадная, сборчатая хрустальная люстра под высоким потолком разбрасывала во все стороны лучики многоцветных звездочек, бедолага-архитектор вдохновение черпал отовсюду, даже, поди из храма царя Соломона: запаздывая, расходясь в веках, здесь, все же, утонченные готические линии сожительствовали с округлостями византийских базилик, украшались — его рассеянным и извращенным мозгом — символикой и пылью идей иллюминатов, розенкрейцеров и масонов — Йорген громко чихнул. Эклектика! Все, решительно все, что к нам попадает — второго сорта! Вместо фаршированного зайца состряпают зайца фальшивого, кофе подменят цикорием. И хоть бы только это! Был один настоящий поэт, хотел в Ригу приехать, у него тут — рядом с дворцом Пионеров — жила подружка, его муза... А они пустили? Как же, а все только потому, чтобы к нам не проникло ничего первосортного! Реформация? Пожалуйста, они нам пишут письма: церкви громить, делать из них конюшни, а сами-то? Как же! Нашего Валтерса

переманивают в Германию, Вагнеру — долги от него требуют, как последние жмоты — приходится ночью на ко рабль и, в бурю, удирать прочь. Ну, а если бы потонул? Где были бы тогда все эти Тангейзеры и Лоэнгрины? В пучине, на дне, с концами . . .

Возникший за спиной затор вытолкнул носильщиков на середину зала. Пролавировав в просторном помещении между покрытыми разноцветным пластиком столиками на тонких металлических ножках, они установили гроб на мраморном постаменте в нише и прикрыли покойного Апинитиса крышкой.

Освободившись от неприятно пугающей ноши, Петерис повернулся к той спиной, — в другом конце зала точь-в-точь такая же ниша, и, на таком же точно постаменте, безголовая гипсовая статуя держит в занесенных руках молот, такой большой, что оттого-то, верно, голову и потеряла. Потеряла, посеяла, — подумал Петерис, — засеяла в большом, вспаханном поле, как зубы дракона, рассеяла по всему свету и теперь повсюду из земли лезут на поверхность головы, подобные ее, таща следом за собой и сероватые гипсовые туловища . . . с молотами, кирками и кулями ржи, теннисными ракетками, дисками и копьями . . .

По обе стороны от ниши стены были покрыты старыми, выцветшими, изувеченными трещинами и фарфоровыми шпешками электропроводки, фресками. Возле фресок Никлавс увидел молодого парня в истертых джинсах и коротковатом фартуке, который, громко распевая: «Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs, tā nenāks, nenāks . . .»*, макал разлохматившуюся, привязанную к обломку палки от метлы кисть в ведро и покрывал фрески жирно-красной масляной краской.

Шетинистая кисть проехала по маленькому, в пядь высотой загончику, устланному соломой, расположенному под кривым безлистным деревом, в тощих ветвях которого запутался диск заходящего солнца. Поросенок отбежал на другой край загона, а там стоит человек в поло сатой одежде — это же сбежавший из гроба арестант! — и грубо хватя розовое тельце и громадными, жуткими зубами будет перегрызать ему горло . . . Грაციозная грушеподобная слеза из поросенкиного глаза вспыхивает в лучах заходящего солнца, сжавшийся в флейту пятак исторгает взвизг, столь пронзительный, что у Никлавса начинают болеть все зубы сразу, а волосы на затылке становятся стоймя. Ужасающий вопль переходит в хрипение, щетка кроет его масляной краской, сквозь которую звук продолжает продираться, пузыря липкую пленку. Маленький мальчик, нет — карлик, сумел убежать от кисти на соседнюю фреску, на которой, как в бреду, застыла похоронная процессия с пауком Красного креста на переднем плане, на постаменте гроб с Апинитисом, гроб немного приподнят, наклонен и в узкую щель глядит то ли глаз, то ли голубая бирюза перстня. Рядом Роландс, под прямым углом склонивший голову, затылок и шея — на одной линии, на заднем плане Руута, Петерис, и сам он, Никлавс и сутулая фигура Йоргена, возле которого, задыхаясь от злобы, слюна стекает по маленькому подбородку, и суетится карлик, с гребешком — как индюшонок: белые волосы все дыбом как у панков, которые пока еще только играют в песочницах, не подошло еще их время, нет их, панков, еще и в помине, так что карлик с гребешком, как индюшонок, припадает к руке Йоргена, дергает за рукава, прыгает вокруг, а Йорген только моргает близорукими Роде новскими глазами в то время как кисть покрывает и его фигуру. Карлик, взглянув на kloкочущую, надвигающуюся красковерть, отскакивает к Никлавсу, что-то быстро лопочет, слова без звука вылетают изо рта. Маленькая, похожая на уставшую мышку, старушка хватает еще более маленького мужчину, встряхивает, сует под мышку. Карлик успокаивается, и вот, уже можно слышать о чем это он бормочет: «Чужой, укусить хотел, на землю свалил, прогнал . . . Наша свинка! Бедная! . . . не уберег . . . теперь вы-

порют, в угол в Красном уголке поставят, телевизор смотреть не разрешат. Уааааа!» «Не плачь, Тенис, не плачь, никто тебе ничего не сделает!» — старушка достает из кармана кусочек сахара и пузырек, капает десять — нет, пусть уж дюжина! — капель и сует сахар в лопочущий рот Тениса, плач постепенно стихает, а кисть, столь пугавшая ранее, быстро докрашивает фреску.

— Кто этот маленький? — шепот Никлавса, отразившийся в высоких сводах замка, прогремел подобно грому, к нему обратились осуждающие лица: ну как же так — на похоронах и орать!

— Кхм! — хмыкнул фельдшер.

Это все, наверное, от «Агдама»? бред весь этот? Никлавс посмотрел вокруг. Нет, видимо, все же, — вот он, в толпе, губами шелестит сбежавший с фрески карлик. Ну и пусть бегают! Зачем орать?! Он мне что, шурин, что ли? У меня и жены нет, и не надо, вот так вот! А у нее, в свою очередь, нет брата! Да пошли вы все со своими шуточками . . .

— Кхм! — повторил фельдшер и взглянул на Никлавса так, словно мысль свою высказал вполне ясно.

Рядом тихонько всхлипывала Руута. Интересно, над Апинитисом или над несчастной судьбой поросенка? Или над обоими сразу? Губы Петериса беззвучно, словно вознося молитву, двигались. Йорген стоял, склонив голову — как на только что закрашенной фреске. Было, не было? Истина, видение? Вы, мудрецы Востока, скажите, что есть истина? Напишите-ка еще брошюру из серии «Вопросы и ответы». Нет, так не пойдет, пить надо меньше . . .

— Ка-хумм! — покраснев от гнева громко кашлял фельдшер. Почему?

Джинсовый парень обтер о край ведра кисть и повернул к ним пышную, утыканную каплями красной краски бороду, над которой всезнающе вращались круглые, коричневые зрачки.

— Это вы мне?

— Ты что, не видишь?

— Что это мне еще надо увидеть, из того, что я не видел? — тот вызывающе снял с головы чепчик, слаженный из газетного листа, на том большими черными буквами устрашающе виднелся заголовок какой-то передовицы: «Преступная халатность».

— Ты что, не видишь, что это?! Что происходит?

— Тара! — отведя за ухо длинную прядь волос ответствовал маляр и собрался было приступить к следующей фреске, на коей Никлавс узрел себя в военной повозке на центральной рижской улице, в руках у него черенок метлы, на тот наткнута громадная, развевающаяся по ветру сторулевка, за его спиной улыбается Апинитис с блестящими золотыми кругляшами вместо глаз, а Роландс вытаскивает из кармана блестящую дверную ручку и гордо демонстрирует ту собравшимся на тротуаре зевакам . . .

— Тара? — Залцманис, проламываясь вперед, почти снес Никлавса. — Ты говоришь «тара»?

— Да ради бога, если вам не нравится тара, пусть будет тарам-па-пам-па-пам-пам . . . — продудел он мелодию «Skaista ir jaunība»*, — а был бы я не столь хорошо воспитан, сказал бы: скоропортящиеся консервы.

— Это свинство, что ты говоришь! — вмешался Атиньш Барабанчик. — И, вообще, что ты тут делаешь? Тебя сюда прислали наш культурный уровень повышать, а не затем . . . чтобы всякое свинство говорить! Иди лучше Красный уголок открой, может, кто книжку почитать хочет или телевизор смотреть. Может, там сейчас фильм показывают!

— Будто не знаете, что в библиотеке только обложки остались, — парень кинул кисть в ведро. — Еще вчера видел последние страницы «Преступления и наказания» на гвозде в туалете для мальчиков, а кинчики вы тут и сами такие устраиваете, что никакому телевизору не снилось. К тому же я не виноват, что гроб это тара . . .

— Тара — это вес упаковки. Тара это разница между

* Прекрасна молодость, но не наступит больше, не наступит . . . (латышск.)

* Прекрасна молодость . . . (латышск.)

весом брутто и весом нетто, — продекларировал Роландс и добавил: — *Latviešu konversācijas vārdnīca, XXV sējums**.

— Что вы тут болтаете, какой товар! — Мощная Дарта плотнее затянула под подбородком концы синего в горошек платка, обильно орошенного слезами. — Где это видано, чтобы покойников продавали!

— Ты подумай только, из нашего Апинитиса хотят сделать брутто! — разволновался Зальцманис.

— Как это брутально! — всплеснула схожая с мышкой старушка.

— Почему брутто? С точки зрения данного подхода, он вовсе не брутто, а нетто! — с улыбкой превосходящего в знании человека возразил фельдшер. — Понимать же надо. Ха!

Нет, облегченно вздохнул Никлавс, нет — он перепутал, не он, а все остальные с ума посходили — уже и покойников на рынке продавать собираются... Перепились...

— А теперь иди-ка! — старушка с маленькими, крапчатыми руками вцепилась в локоть маляра. — Иди, иди, у нас тут свои дела, дела старых людей.

— Никуда я не пойду! — ответил тот упрямо, — я не могу получать деньги ни за что, в Красном уголке делать мне нечего и, потом, завхоз велела мне отреставрировать фрески. Рисовать я не умею, но я все равно прекрасно осуществляю полную реставрацию.

— А ты хотя бы знаешь, что эти фрески, — вступилась Хромая Илзите, — что эти фрески тут еще с баронских времен?

— Про те времена я ничего не знаю, у нас в истории полно белых пятен, я делаю, что мне сказано... Я закрасываю! Но если это вам так уж не нравится, извольте. Могу и уйти!

Пренебрежительно покачивая ведром, он вызывающе и независимо проложил себе дорогу через ряды скорбящих.

— Но, будь я почтальоном, — закрывая за собой двери, он коварно подмигнул Рууте, — сказал бы: и все-таки тарта!

Тяжелые двустворчатые двери со скрипом сомкнулись.

— Тара... Какое кошунство... — прошептала Хорошенькая Марта.

— Повторяю еще раз, что если, скажем, речь пойдет о тарте, то это, конечно, не так, поскольку в таком случае я согласен, что это было бы кошунство, но все же, если мы допустим, — напористо продолжал фельдшер, — если мы условно рассмотрим нашего коллегу в гробу с позиций субъективного материализма, то он, вне всяких сомнений, нетто!

— Нет, брутто! — топнул ногой Зальцманис.

— Нетто, — возвысил голос фельдшер.

— И ты, Брут! — закричал Апинитис, легко, как пушинку, скинув с себя крышку гроба. — Умри же, Цезарь!

Роландс поймал, как мантию короля, крышку в полете и, прижимая ее к груди, исцарапанной в купе поезда острыми ногтями жены, тяжело рухнул на пол, голова от удара загудела как не желающая раскалываться копилка — не бьется, свинья такая! — глиняная свинка, хорошая такая, симпатичная, круглая, спереди, нет — сзади, нет — в спинке дырочка, — успел, падая в бездну, подумать Роландс. Из щели, дразнясь и паясничая, выкатилась и укатилась, ловко лавируя между стариками и старухами нищенского приюта его денежка, один-единственный кусочек золота! Желтый свет, излучаемый монетой, словно воткнул вилку в закрытые глаза Роландса: руки обнимают диванчик, покрывала все путаются, мешают, он на ощупь продирается вперед, раздираются сугробы белых кружев, руки жадно ловят уклоняющееся, страстное и законное тело жены. Войдет кто-нибудь, помешает, опять ничего не выйдет — грохочут на стыках колеса, за занавесками дневной свет, но это же брачная ночь! Так положено, схема брачной ночи ясна! В рот лезут волосы жены, пахнет свежим перманентом и лаком, ба-

бочка сдавливают кадык. По полу катается пустая, зеленая бутылка из-под шампанского, елозят по стене в авоське купленные в Москве апельсины. Олух, немужчина, полное отупение, ничего не получится, опять ничего! Стыд бессилия, дверь купе открывается — но он же запер, запер же! — и проводница вежливо спрашивает: «Чайку не желаете?» Колено жены бьет в живот одновременно с криком «импотент!». Взвыв, он хватается дипломат, раз, два, три — мимо проводницы, в коридор, к окну, окно поддается — хотя бы оно!

Обняв крышку гроба, невменяемый Роландс катается по полу, дерет трясущимися пальцами атлас, страстно лобзает казеином пахнущую древесностружечную плиту. Трещит материя, мешаясь с всхлипами, в воздух вылетают лепечущие и жалкие мольбы:

— Ну дай... я хочу... я... пусти...

— Кто там стонет? Кто там воет! — сев в гробу, декларировал Апинитис. — Что за люди тут собрались? Горсти праха, жертвы тлена?

— Ради бога, сделайте хоть что-нибудь — причитала Руута. — Я не могу на это смотреть! Отнимите у него крышку!

— Мда, крышка! — отходя в сторонку, пробормотал Петерис.

— Крышка, никаких сомнений! — выдохнул Йорген.

— Милый Кришна, — Руута отпустила руку Никлавса, — сделай что-нибудь!

— «Агдам», — изрек Никлавск. — «Агдам», узнаю. Пить меньше надо!

— Не «Агдам», а эпилепсия! — сварливо возразил фельдшер. — Нас на ветеринарии учили, э-пи-леп-си-я!

Прочие аплодировали, чуть не визжа от восхищения, — да он, пожалуй, самого Апинитиса переплунет, такой молдой и талантливый!

— Повторить! Повторить! Bravo! Бис! — чей-то хриплый голос орал в ухо Рууте.

— Эх, плясал я, танцевал. Напролет всю ночь. С хорошенькой девчонкой! — Апинитис молодецки выскочил из гроба и, обхватив за талию Мощную Дарту, принялся приплясывать вокруг Роландса, бившегося на полу все медленнее, затухая... Как червяк, протиснулся он в узкое вагонное окно, в глубоком стыду, прижимая к груди дипломат, покатился по насыпи, над ним выросла темная фигура с ломом, может Инта бросилась следом — спасти, успокоить, она снимает украшенную рваными кружевами одежду, гудит кровь, пахнет клеем, наконец, вот-вот... древесностружечная крышка рассыпалась, обрывки атласа усеяли дощечки паркетного, крашенного масляной краской, пола.

— Могу все-таки... — стонал Роландс, когда Петерис и Никлавс объединенными усилиями отодрали его пальцы от крышки гроба.

(Окончание следует)

AVOTS
N° 6

* Латвийский энциклопедический словарь, XXI том (латышск.)

КОНСПЕКТ ЖИЗНИ ПОЭТА

ЛЕОНИД БРЕЙКШС родился в России, 8 апреля 1908 года в господской усадьбе, в Елизарово Московской губернии, его родители нанялись туда управляющими. Так уж вышло, что крестным отцом будущего поэта стал князь Голицын, а детство он провел вдали от Латвии. Но родители не порывали связей с родным краем Пиебалгой, навещали туда и брали с собой детей. Эти поездки остались в памяти навсегда, и позднее, прожив в городе многие годы, поэт по-прежнему называл Пиебалгу самым близким его сердцу краем.

Каждая поездка туда казалась ему паломничеством.

Время, проведенное в Елизарово, было недолгим, семья Брейкшсов переехала в Москву, там и началась его школьная жизнь. В то время самым любимым его чтением был Пушкин. Охотно читал также латышские народные сказки, они пробуждали в нем интерес к жизни латышей. Сочинять стихи начал рано. Осенью 1920 года Брейкшсы вернулись в Латвию, учебу Леонид продолжил в Риге. Самым близким другом маленького Леонида, его наставником и пристрастным читателем его стихов была мать, человек религиозный из семьи, богатой деятельными сподвижниками братской общины в нескольких поколениях.

Юный поэт окончил I Рижскую гимназию и в 1928 году, в надежде на материальное благополучие в будущем, поступил на юридический факультет. Все же юриспруденцию пришлось бросить, так как все время уходило на газетную работу для куска хлеба. С 1930 года она стала основным его занятием. В то же время он всерьез обратился к литературному творчеству.

В последующие годы Л. Брейкшс жил в Риге, работал редактором в Министерстве общественных вопросов. 17 апреля 1941 года он был арестован и в 1942 году погиб в Астрахани.

Леонид Брейкшс трудился не только на поэтической ниве, им написаны романы, рассказы, сценарии для драматических представлений по случаю крупных государственных торжеств, и целые серии статей по различным общественным, культурным, политическим и религиозным вопросам. Разносторонние интересы Брейкшса не забывали в нем поэта, напротив, благодаря им, его талант получил достойную огранку, его стихи стали глубже.

Первый поэтический сборник Л. Брейкшса «Звучащие воды» (1931) не оставляет сомнений, что перед нами истинный лирик. Его стихи уже с первых страниц изумляют плавностью и благозвучием, по воле автора они уносят читателя подобно тихому течению. Музыкальность стиха искупает некоторое несовершенство первых стихотворений. Латышская литература насчитывает немного поэтов, владевших в равной степени как внешней, так и внутренней формой. Брейкшса форма не сковывала, несмотря на то, что примером ему служили поэты, строго выверявшие ее. Он был наделен сильно развитой поэтической интуицией, и его ранние стихи иногда похожи на импровизацию. В более поздних стихах Брейкшса заметно, что он неохотно следовал чисто классическим образцам, и, например, октавы, во втором стихотворном сборнике «Земля моих мечтаний» (1935) видоизменил по своему усмотрению. Главное благозвучие, как говорил Верлен: «Музыка превыше всего».

Первая книга выдержана в светлых, весенних тонах, пейзажная лирика пронизана юношеским задором. Порой звучат патриотические мотивы. Некоторые из стихотворений обрели широкую известность, в особенности гимническое. «Земля эта, священный дар народу моему».

Во второй книге в основном любовная лирика, стихотворения и по форме и по содержанию более зрелые, в них не утрачена музыкальность прежних стихов, только в сравнении с первой книгой, тона в них более приглушенные, в них сквозит легкая грусть.

Основные темы поэзии Брейкшса: природа, любовь, религия. В его стихах нередко звучат патриотические мотивы. Брейкшс писал также исторические баллады.

В пейзажной лирике трудно выразить нечто новое, но всякий истинный поэт, обладая сугубо личным восприятием, способен раскрыть что-то незамеченное. Брейкшс изобразил природу во все времена года, во многих стихах он с искренним чувством передал красоту лесов Латвии, ее холмов и рек.

Любовная лирика занимает видное место в книгах Брейкшса, она весьма своеобразна. Чувства в ней выражены тонко, сдержанно. О любви Брейкшс почти никогда не говорит прямо, преобладает чисто эстетический подход к теме.

Патриотические стихотворения о горячей любви к родине и труду написаны в торжественно приподнятом тоне. Столь же торжественно незатейлива религиозная поэзия Брейкшса, в которой он выражает приверженность идеям христианства.

Л. Брейкшс не был новатором ни в художественном оформлении стиха, ни в содержании. Все, что поэт переплавил в своей мастерской, создавая новое содержание и форму, было уже известно. Он сумел найти свое место в литературе, создать свой язык, единственное, что дает возможность поэту выразить чувства и мысли.

Своими литературными наставниками он с любовью называл Вирзу, Плудонса, Эзериньша, из иноязычных писателей — Пушкина, Гамсуна, Чехова, Есенина.

Проза Брейкшса лирична, он повествует легко и увлекательно. В романе «Огни» (1933) рассказано об устремлениях молодежи того времени, об их труде, любви и заблуждениях. Вероятно, роман отчасти автобиографичен. Он легко читается. Его слабое место — композиция и фабула. В периодике (в основном в «Пиесауле») разбросаны рассказы Брейкшса о психологических проблемах и о сложностях жизни общества. Это коротко и мастерски написанные произведения. Брейкшс использует интригу, хотя описываемое происшествие бывает обыденным.

В журнале «Медниекс ун Макшкерниекс» Брейкшс опубликовал цикл рассказов «Со спиннингом», а в газете «Латвияс Карейвис» напечатаны его очерки — воспоминания о военной службе.

Леонид Брейкшс размышлял не только о проблемах поэзии, но и о проблемах жизни, ему не давал покоя вопрос — как жить. Он серьезно изучал национальный вопрос, интересовался богословием и философией, читал Бергсона, Ницше, Шопенгауэра и стоиков. Изучал вопросы, касающиеся прироста населения, воспитания молодежи и др. В результате этих занятий были написаны не только многочисленные газетные статьи, но и книга «Наша семья» (1935). В ней Брейкшс сделал попытку найти причины распада семьи и подробно исследовал трудности семейной жизни.

Несколько статей он посвятил вопросам психологии — проблемам воспитания воли и характера.

В провинциальных газетах напечатано с полсотни статей Брейкшса по поводу указов К. Ульманиса.

Интересны тексты, написанные Брейкшсом для представлений по случаю больших государственных праздников, — ко второму и третьему Празднику Труда, на 15 мая 1937 года и на 18 ноября 1938. В этих сочинениях стихи чередуются с прозой, в них символически показаны трудовые достижения Латвийской Республики.

За короткий срок поэзия Леонида Брейкшса была как бы выхвачена из небытия, и снова поэт обращается к своему народу и призывает его. Имени поэта следует вернуть заслуженное уважение и место в латышской культуре.

ПЕТЕРИС ЗИРНИТИС

ЛЕОНИД БРЕЙКШС

ОБ ОТЕЧЕСТВЕ И ЕГО ЗАЩИТНИКАХ

Размышления

Когда я думаю об Отчей земле, она порой мне видится кораблем. Он когда-то был сработан для нашего народа, дабы мы прошли на нем через годы и столетия: этому кораблю суждено плыть через океаны веков и тысячелетий, а не бороздить волны соленого моря.

Люди на корабле, всегда будьте бдительны: в бурю вы должны выстоять и вынести все невзгоды. Даже в самый черный час выполняйте свой долг, несите службу; в минуты отчаяния не покидайте своих мест, не опускайте рук, ибо только тогда безнадежность обернется надеждой. Надежда учится сбываться точно так же, как росток постигает науку быть деревом.

Только тот, кто не страшится самой темной тьмы, кому самая долгая ночь нипочем, дождетса, наконец, рассвета. Не бывает на земле ночей без конца, бывают только люди, павшие духом, утратившие упорство, радость борьбы и труда, им не дожидаться рассвета. Он непременно настанет, им же не хватает мужества терпеть и ждать.

Они подобны мореплавателям, которые не сумели нести вахту до конца, уснули и их смыло волной в пучину.

Подобная участь постигла целые народы. А наш народ был мудр, он знал: надо выжить, вытерпеть, бороться.

Могут сказать, что защитники Отчеству нужны только в бурю, а если мирно вокруг — кого защищать? С кем бороться?

Будьте повнимательней, и увидите, что защитников Отчества и тех, кто созидает на его благо, Господь наделил множеством обликов: когда война, они в блеклой одежде солдата, а в мирное время наблюдательный глаз увидит на защитнике Отчей земли серую одежду пахаря и синюю робу рабочего. Ее защитник — это и чиновник, и работник умственного труда, склонивший голову над рабочим столом.

Творец в отчизне тот, кто в мирное время все свои силы вкладывает в труд, в дела, тот, кто приумножает ее богатства, наращивает ее мощь и закаляет ее силу.

А сельские жители, чем они не защитники Отчей земли — отцы и матери, воспитывающие детей в труде на ее благо, они вырастут и пополнят ряды воинов. Отчизна сильна могучими войсками защитников. Она сильна трудолюбием, горящими сердцами людей, которые готовы без громких слов принести себя в жертву во имя ее блага, полностью вложить себя в труд. И в труде, и в лихую годину, когда грянет гром и хлынут чужие полчища через границу, защитить ее и уберечь ее смогут те, кому не жаль себя, для кого свобода и процветание Отчей земли превыше всего.

У всех, кто трудится хорошо, на совесть, лица осенены особым знаком — знаком труженика и защитника Отчества.

Разве Отчая земля не крепость наша? Она воздвигнута в мирное время и в час испытаний не дрогнет.

Силы, накопленные в благополучии, самая надежная опора в бедствии. Итак, мы видим, что обязанностям защитников Отчества нет конца. Может только наступить конец желанию выполнять их.

Горе народу, забывшему об этих обязанностях.

Но благословен тот народ, который чтит их — свой долг выполняет, и юноша, вступающий в жизнь, и старец на склоне лет: вечность благосклонна к такому народу. Она вознаграждает преданность тех, кто терпелив и выстаивает до конца.

* * *

Отлочи ветвь от яблони и ты увидишь — она погибнет. Отлучи человека от Отчей земли, и ты увидишь, как он

затеряется среди других народов — так рассеивается дым по ветру.

Только Отчая земля дает силы. Только она позволяет племенам сохранять дух и кровь предков от поколения к поколению.

* * *

Где проходит грань между живыми и мертвыми? Где та стена, что отделяет живых героев от павших?

Живых героев мы встречаем наяву, они среди нас, а с погибшими мы можем встретиться лишь в размышлениях — в душе нашей. И там их речи звучат еще убедительней. Они как бы говорят нам:

«Видишь, я покинул живых, переступил порог смерти. Но ведь я не канул в небытие. Моё тело, мои кости схоронены в земле, но разве моя, облаченная в светлые одежды, душа не посещает святилище ваших раздумий и воспоминаний?»

Разве, беседуя с Всевышним, вы не замечаете меня в кругу Его приближенных? Разве не стоило пожертвовать телом, ради просветленной жизни души?

Не страшитесь борьбы и страданий во имя Отчей земли. Кто хоть раз горел этим огнем, тот закален на жизнь вечную».

Пусть ваши дела будут осенены словами: наше Государство, наша Отчизна! Звезды в ночи укажут путь страннику, а благословение Отчей земли пусть поможет каждому найти свой жизненный путь. Благополучие Отчества растёт тогда, когда люди честно трудятся, преумножая богатства своей земли — вещественное и, что еще более важно, — духовное. Человек с честью способен ответить за всякое свое дело и слово, если он воспитывался быть смелым, честным и справедливым.

На благо земле усилия людей отбросить пустые мысли, гордыню, мелкое, пустое честолюбие, чтобы сеять вокруг светлое и доброе. На благо земле труд человека, который ратует за то, чтобы наш народ жил в мире и дружбе. На благо земле служат люди, чья душа открыта, кто приветлив и кто стремится очистить свои мысли и сердца других людей от зависти, злобы к ближнему и укрепить добрые отношения.

В чем же наше счастье и благополучие? Не в созвучии ли сердец? Не душевная ли это теплота, которая греет замерзших, дает приют отвергнутым и ободряет предавшихся унынию? Они чувствовали себя обездоленными и вдруг их приветили. Разве благополучие Отчей земли не заключается в благе добрых, дружеских отношений между людьми?

* * *

Я окидываю взором ряды айзсаргов, мужчин и женщин, многие из них отслужили верой и правдой своей организации кто десять, кто пятнадцать, а кто и более лет еще со времен Освободительных Боев, и я чувствую и знаю: в нашем народе есть верные мужи и жены, на которых можно положиться.

Я порой долго вглядываюсь в эти лица, их избородили долгие годы, житейские невзгоды, нелегкий труд. Труд, от которого поникли плечи — следуя за плугом, от нелегкой работы, но их глаза все еще излучают свет, доброту и необыкновенное душевное тепло. Оно ведомо только тем, кто годами и десятилетиями хранил верность своей цели, своему пути.

Я пристально смотрю на молодежь после них — братья и сестры, сыновья и дочери. Они пришли вместе со взрослыми в ряды преданных защитников Отчества и стоят все вместе бок о бок.

Во мне рождается глубокое уважение и преклонение перед этими внешне простыми людьми. Я вижу в них священное войско Отчей земли, я вижу в них основы основ, я вижу в них неугасимый свет, который согревает любого, на кого он падет.

Отчество! Подними глаза и смотри — твой народ стоит сплотившись вокруг твоего знамени!

Владимир Высоцкий

ВЕСЕЛАЯ ПОКОЙНИЦКАЯ

Едешь ли в поезде, в автомобиле
Или гуляешь, хлебнувши винца, —
При современном машинном обилье
Трудно по жизни пройтись до конца.

Вот вам авария: в Замоскворечье
Трое везли хоронить одного, —
Все, и шофер, получили увечья,
Только который в гробу — ничего.

Бабы по найму рыдали сквозь зубы,
Дьякон — и тот верхней ноты не брал,
Громко фальшивили медные трубы, —
Только который в гробу — не соврал.

Бывший начальник — и тайный разбойник —
В лоб лобызал и брезгливо плевал,
Все приложились, — а скромный покойник
Так никого и не поцеловал.

Но грянул гром — ничего не попишешь,
Силам природы на речи плевать —
Все разбежались под плиты и крыши, —
Только покойник не стал убежать.

Что ему дождь — от него не убудет, —
Вот у живущих — закалка не та.
Ну а покойники, бывшие люди, —
Смелые люди и нам не чета.

Как ни спеша, тебя опережает
Клейкий ярлык как отметка на лбу, —
А ничего тебе не угрожает
Только когда ты в дубовом гробу.

Можно в отдельный, а можно и в общий —
Мертвых квартирный вопрос не берет, —
Вот молодец этот самый — усопший —
Вовсе не требует лишних хлопот.

В царстве теней — в этом обществе строгом —
Нет ни опасностей, нет ни тревог, —
Ну а у нас — все мы ходим под богом,
Только которым в гробу — ничего.

Слышу упрек: «Он покойников славит!»
Нет, — я в обиде на злую судьбу:
Всех нас когда-нибудь кто-то задавит, —
За исключением тех, кто в гробу.

1970

Слева бесы, справа бесы.
Нет, по новой мне налеи!
Эти — с нар, а те — из кресел, —
Не поймешь, какие злей.

И куда, в какие дали,
На какой еще маршрут
Нас с тобою эти ввали
По этапу поведут?

Ну а нам что остается?
Дескать, горе не беда?
Пей, дружище, если пьется, —
Все — пустыми невода.

Что искать нам в этой жизни?
Править к пристани какой?
Ну-ка, солнце, ярче брызни!
Со святыми упокой . . .

<1979>

ПОПЫТКА САМОУБИЙСТВА

Подшит крахмальный подворотничок
И наглухо застегнут китель серый —
И вот легли на спусковой крючок
Бескровные фаланги офицера.

Пора! Кто знает время сей поры?
Но вот она воистину близка:
О, как недолог жест от кобуры
До выбритого начисто виска!

Движение закончилось, и сдуло
С назначенной мишени волосок —
С улыбкой Смерть уставилась из дула
На аккуратно выбритый висок.

Виднелась сбоку поднятая бровь,
А рядом что-то билось и дрожало —
В виске еще не пущенная кровь
Пульсировала, то есть возражала.

И перед тем как ринуться посметь
От уха в мозг, наискосок к затылку, —
Вдруг загляделась пристальная Смерть
На жалкую взбесившуюся жилку . . .

Промедлила она — и прогадала:
Теперь обратно в кобуру ложись!
Так Смерть впервые близко увидала
С рожденья ненавидимую Жизнь.

<До 1978>

Потеряю истинную веру —
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насёру —
Не подходит к ордену Насёр!

Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насёра нашим братом, —
Но давать Героя — это брось!

Почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили!
Лучше бы давали на войне, —
А Насёры после б нас простили.

1964

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить Рай
Для собственных грядущих поколений.

Известный черт с фамилией Черток —
Агент из Рая — ночью, внеурочно
Отстукал в Рай: в Аду черт знает что, —
Что точно — он, Черток, не знает точно.

Еще вернул тревожную строку
Для шефа всех лазутчиков Амура:
«Я в ужасе, — сам Дьявол начеку,
И крайне ненадежна агентура».

Тем временем в Аду сам Вельзевул
Потребовал военного парада, —
Влез на трибуну, плакал и загнул:
«Рай, только Рай — спасение для Ада!»

Рыдали черти и кричали: «Да!
Мы Рай в родной построим Преисподней!
Даешь производительность труда!
Пять грешников на нос уже сегодня!»

«Ну что ж, вперед! А я вас поведу! —
Закончил Дьявол. — С Богом! Побежали!»
И задрожали грешники в Аду,
И ангелы в Раю затрепетали.

И ангелы толпой пошли к Нему —
К тому, который видит все и знает, —
А он сказал: «Мне наплевать на тьму!» —
И заявил, что многих расстреляет.

Что Дьявол — провокатор и кретин,
Его возня и крики — все не ново, —
Что ангелы — ублюдки как один,
И что Черток давно перевербован.

«Не Рай кругом, а подлинный бедлам, —
Спустишь на землю — там хоть уважают!
Уйду от вас к людям ко всем чертям —
Пушай меня вторично распинают!..»

И он спустился. Кто он? Где живет? ..
Но как-то раз узрели прихожане —
На паперти у церкви нищий пьет:
«Я Бог, — кричит, — даешь на пропитанье!»

Конец печален (плачьте, стар и млад, —
Что перед этим всем сожженье Трои!):
Давно уже в Раю не рай, а ад, —
Но рай чертей в Аду зато построен!

Мишка Шифман башковит —
У него предвиденье:
«Что мы видим, — говорит, —
Кроме телевиденья?!
Смотришь конкурс в Сопоте —
И глотаешь пыль,
А кого ни попадя
Пуускают в Израиль!»

Мишка также сообщил
По дороге в Мнѣвники:
«Голду Меир я словил
В радиоприемнике...» —
И такое рассказал,
До того красиво:
Я чуть было не попал
В лапы Тель-Авива.

Я сперва-то был не пьян,
Возразил два раза я —
Говорю: «Моше Даян —
Сука одноглазая, —
Агрессивный, бестия,
Чистый фараон, —
Ну а где агрессия —
Там мне не резон».

Мишка тут же впал в экстаз —
После литры выпитой —
Говорит: «Они же нас
Выгнали с Египета!
Оскорбления простить
Не могу такого, —
Я позор желаю смыть
С Рождества Христова!»

Мишка взял меня за грудь:
«Мне нужна компания!
Мы ж с тобой не как-нибудь —
Здравствуй — до свидания, —
Побредем, паломники,
Чувства придавив! ..
Хрена ли нам Мнѣвники —
Едем в Тель-Авив!»

Я сказал: «Я вот он весь,
Ты же меня спас в порту.
Но одна загвоздка есть:
Русский я по паспорту.
Только русские в родне,
Прадед мой — самарин, —
Если кто и влез ко мне,
Так и тот — татарин».

Мишку Шифмана не трожь,
С Мишкой — прочь сомнения:
У него евреи сплошь
В каждом поколении.
Дед, параличом разбит, —
Бывший врач-вредитель...
А у меня — антисемит
На антисемите.

Мишка — врач, он вдруг затих:
В Израйле бездна их, —
Гинекологов одних —
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути —
Слишком много просятся.
Где на всех зубов найти?
Значит — безработица!

Мишка мой кричит: «К чертям!
Виза — или ванная!
Едем, Коля, — море там
Израилеванное! ..»
Видя Мишкину тоску, —
А он в тоске опасный, —
Я еще хлебнул кваску
И сказал: «Согласный!»

... Хвост огромный в кабинет
Из людей, пожалуй, ста.
Мишке там сказали «нет»,
Ну а мне — «пожалуйста».
Он кричал: «Ошибка тут, —
Это я — еврей! ..»
А ему: «Не шибко тут!
Выйдь, вон, из дверей!»

Мишку мучает вопрос:
Кто здесь враг таинственный?
А ответ ужасно прост —
И ответ единственный:
Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу,
Мишка пьет проклятую, —
Говорит, что за графу
Не пустили — пятаю.

1972

Примечания к подборке текстов В. Высоцкого:

Публикуемые тексты в своей основе являются окончательными авторскими вариантами, определенными по известным на сегодняшний день фонограммам авторских исполнений 1964—1980 гг. из собрания Комиссии по творческому наследию В. С. Высоцкого при Всесоюзном совете клубов самодеятельной (авторской) песни. «И душа и голова, кажись, болит...» публикуется по единственной известной авторской фонограмме. «Попытка самоубийства» и «Слева бесы, справа бесы...» публикуются по авторским рукописям. Текстологическая подготовка А. Е. Крылова.

Теперь все знают — что такое зек, что — цифир, что — кайф. Меньше тех, кому известно, что означает слово «шизо». С шизофренией оно не связано. Столь громко именуется штрафной изолятор, а, проще говоря, — карцер. В таких лагерных «шизо», а еще — в жуткой Владимирской тюрьме прошла большая часть «творческой командировки» моего московского коллеги Юлия Даниэля. Интеллигент, человек деликатнейший, Юлий невероятно любил свободу, невероятной была его сила сопротивления тупоумному государственному механизму возмездия. Он ненавидел этот механизм, и механизм ненавидел его и,

неспособный искалечить его духовно, увеличил физически.

Юлий Даниэль и Андрей Синявский были самыми знаменитыми осужденными шестидесятых, позже им подобных людей называли «узниками совести», поскольку страдали они лишь за свои убеждения, за свои литературные пристрастия. То, от чего отворачивалась «мать Родина», они публиковали за границей, под псевдонимами. Нетронутые всеми светлыми и темными деяниями Никиты Хрущева, опоры власти стояли прочно и недвижно. Репрессии продолжались, попрание прав человека продолжалось.

Я не могу осознать, что уже год, как Юлия нет. И в лагере и далее, в гражданской жизни, он нес в себе какую-то нежность, светскость, вкус к жизни. И, что кажется мне особенно важным, — крики боли и злости умел заменить ироничной фразой.

Таков рисунок воспоминаний Юлия Даниэля — со смехом сквозь слезы, но все же — со смехом. Ребятам, бывшим по его сторону колючей проволоки, смешно от этого скрещения глупости и насилия. А как вам, по ту сторону не побывавшим? Что на сердце у вас?

КНУТС СКУЕНИЕК

ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ



Лет десять назад я написал цикл стихов о лагере. Там есть детали быта, реалии; нельзя сказать, чтобы я в чем-нибудь соврал, нафантазировал. Но как во всякой стихотворной публицистике, там нет людей — есть лишь некая масса, объединенная общими страданиями, общими условиями, общим обликом. Это правда, но правда не вся и не главная. Главная правда нынешнего политического лагеря — это удивительное разнообразие собранных там людей, то, что лагерь — это собрание индивидуальностей. Уместней всего было бы вспомнить витраж, где целая картина складывается из стекляшек, разных по форме и цвету.

Книга Анатолия Марченко «Мои показания» — честная книга. В ней, насколько я могу судить, нет ни одной фактической неточности. Может быть, отношение Марченко к институту лагеря и тюрьмы гуманней, человечней, чем мое: он пишет о положении арестанта вообще, независимо от того, за что этот арестант отбывает заключение. Похоже, что это реликтовые явления той исчезнувшей, стертой 20-м веком прекрасной русской традиции — жалеть арестанта, «несчастливого». Недаром когда-то люди давали арестантам еду и деньги — равным образом и для облегчения их страданий и во спасение своей души. Обе эти цели объединялись емкой формулой — «христа ради».

Я не собираюсь спорить с Марченко. Просто мои интересы уже, ограниченной, чем его. Конечно, мне тоже было тяжело смотреть, как страдает вор, убийца или насильник; но он не интересен мне, как личность, — ну, так же, примерно, как неинтересны мне гелиминтология или астроботаника (что не мешает мне, разумеется, с полным уважением относиться к ученым, избравшим эти области). Меня интересуют люди, причиной страдания которых было страдание.

Речь не о том, правы они или неправы. Может да, может, нет. Может, в чем-то правы, а в чем-то неправы. Это могло бы стать предметом политического или научного спора — но только не судебной расправы. Таково мое глубочайшее убеждение, и в защиту его я не стану приводить соображения юридического характера. Это делали и делают те, кто более меня чуток к таким явлениям, как государство и право.

В основе так называемого «преступления» людей, о которых я хочу хоть немного рассказать, о которых не перестает болеть сердце, лежит страдание, боль, горе. Это может быть боль о турецких армянах, об украинской культуре, о литовской самостоятельности, о татарском изгнании. Это может быть горе по поводу разрушенной церкви. Это может быть страдание от вынужденной немоты, от запрета на недоумение и несогласие.

ПУСТЬ БЬЕТСЯ ЖОПОЙ ОБ ЗЕМЛЮ . . .

За ночь похолодало. Но утренние заморозки в начале апреля — дело обычное, и мы, ругаясь скорее для порядку, чем всерьез, накинули на плечи ватники. Надевать их как следует, в рукава, застегиваясь — не имело смысла: не пройдет и получаса, как потеплеет, а до столовки и так можно добежать. Мы сидели за столом, нехотя ели свой рыбный суп и пересмеивались. Мы придумывали, что может сказать Ян, когда начальник снова вызовет его. Дело в том, что Ян, как только с ним заговаривало начальство, мгновенно забывал все русские слова. Приходилось звать переводчика, и тогда происходил такой разговор:

Нач. (по-русски) — Спросите у него, почему он не выполняет норму?

Пер. (по-латышски) — Ян, этот хрен спрашивает, почему ты не выполняешь норму.

Ян (по-латышски) — Скажи ему: пусть бьется жопой об землю.

Пер. — Он говорит, что ему нездоровится.

Нач. — Мы его накажем.

Пер. — Он грозит тебе, что накажет.

Ян — Скажи: пусть бьется жопой об землю.

Пер. — Он говорит, что питание плохое.

Нач. — Отправим в ШИЗО.

Пер. — Обещает тебе карцер.

Ян — Пусть бьется жопой об землю . . .

И так до бесконечности. Мы пеняли Яну, что он однообразен; Ян утверждал, что на этого гада хватит и одной латышской фразы. «Он же тебя засечет — расчихает, что ты один и те же слова говоришь.» — «А я говорю то медленней, то быстрее. И вообще он дурак.»

Мы вышли на развод. Теплей не стало. Как всегда кто-то путался в «пятерках», надзиратели сбивались со счета, время тянулось, я надел ватник в рукава и застегнулся.

НОЖОМ ЖИВОТ СТУКНУЛ

После освобождения меня довольно часто спрашивали: «А как там сейчас насчет рукоприкладства? Бьют? — и очень осторожно, с надеждой — вас били?»

Мне трудно ответить. Сказать «не били» — вроде не совсем правильно; сказать «били» — вроде преувеличение. Я лучше сначала расскажу, что произошло лет двадцать пять назад.

Мы жили тогда в Армянском переулке, на углу Маросейки, в огромной коммунальной квартире. Было там пять семей, одна кухня, один сортир, никакой ванной и всеобщая доброжелательность.

Жила там и чудесная семья татар: муж с женой и трое детей. Как они помещались впятером в крохотной 8-ми или 10-ти метровой комнате — рассказать невозможно. Но они жили там и жили весело, дружно, почти без скандалов. Почти — потому что Соня (София), глава семьи, была ревнива, вспыльчива, с горячим южным нравом и время от времени устраивала сцены своему мужу — кроткому, работающему Володе. Впрочем, она была отходчива, и бурные вспышки сменялись таким же бурным раскаянием. Мы — все остальные — покровительствовали им; это, в основном, выражалось в том, что наши пожилые дамы — моя мать и две другие соседки — занимались с детьми Сони, кто — математикой, кто — русским языком, кто — иностранным (По утрам, стряпая на кухне, дамы беседовали то по-французски, то по-немецки о Комеди Франсез, о концерте Святослава Рихтера, о последнем романе Ремарка . . .). Соня почитала их, если не наравне с Аллахом и Магометом, то уж никак не меньше муллы, который изредка, по праздникам, появлялся в квартире и вместе со своей паствой временно оккупировал нашу комнату; комната у нас была большая — 17 кв. м., да еще комната в 3,5 кв. м., с дверью и с окном!

Была у Сони еще взрослая дочь Ася от первого брака, замужняя, жившая недалеко от нас.

И вот однажды эта самая Ася позвонила по телефону, и рыдая, сообщила матери, что ее избил муж. Все это Соня, повесив трубку, довольно спокойно поведала квартирной обществу. Наши интеллигентные дамы взвизгли: «Соня, как ты можешь? . . . Ты же мать! . . . Это же ужасно! Ты должна защитить Асю! . . .» и т. д. Соне много не нужно было: она, как всегда, завелась с полоборота, сердце ее

пронзила жажда скорой и справедливой расправы, она накинута платок и побежала уничтожать злодея-зятя.

Вернулась она через час, умиротворенная, благостная, во всем разобравшаяся, и поспешила успокоить взволнованных дам:

— Он его (т. е. — ее, Асю, — Ю. Д.) сапсем не бил. Он его один раз ножом живот стукнул . . .

Летом 67-го года я в очередной раз загремел в карцер. Это было очень сырое лето, кругом много болот, комары носились тучами, ели поедом, и я доходил до истерики, проклиная комаров, Мордовию, свой приговор и почему-то лагерную администрацию. И только крем «Тайга» хоть немного, но все же помогал отпугивать этих кровопийц. Стекла в окне камеры были по летнему времени вынуты, комары не давали покоя ни днем, ни ночью; днем-то мы кое-как отмахивались, а вот ночью . . . Закутаешь лицо и руки ватником — через полминуты обольешься потом, дышать нечем, раскроешься — комары снова атакуют. И так до бесконечности. Но когда ты намазан «Тайгой», то они хоть не все, а через одного кусают.

Уже дважды надзиратели говорили мне: «Крем — не положен в ШИЗО». Я тупо возражал: «Покажите инструкцию». Инструкции, конечно, не было. Разумеется, я плутовал: разве можно перечислить все, чего НЕ ДОЛЖНО быть в карцере? Но на «наших» надзирателей и офицеров это почему-то действовало. Тем не менее, выходя из камеры во двор на opravку и умывание, я на всякий случай прихватывал «Тайгу», чтоб не забрали в мое отсутствие.

В этот день дежурным офицером был некто Такташев, молоденький, очень хорошенький лейтенант из соседней женской зоны. Когда мы вернулись со двора, мне скомандовали: «Даниэль, в дежурку!» Я зашел в комнату дежурного; там стоял Такташев, следом вошли еще трое надзирателей.

— Сдайте крем.

Я завел обычную волюнку об инструкции.

— Сдайте крем.

— Не сдам.

— Отберем.

— Попробуйте.

— Общайте его и отберите, — сказал Такташев.

Тут со мной произошло нечто странное. Я вскочил на стол (с места, без разбега!) и заорал:

— Только подойди — морду сапогом разобью!

А сапоги у меня были свои, не лагерные, яловые, на трехслойной, в два пальца шириной подошве! Надзиратели остановились.

— Да ты что, Даниэль, — произнес один из них укоризненно, — не положен тебе крем.

— Морду разобью, — повторил я убежденно.

— Отберите крем, — сказал Такташев.

Надзиратели не шелохнулись. Скрутить-то они бы меня скрутили, но пока я занимал господствующие высоты, я успел бы врезать сапогом по физиономии. Оно конечно, служба службой, но рожато не казенная, жалко все-таки.

— Слезайте, Даниэль, — сказал лейтенант.

— Не слезу.

— Слезайте, не тронем мы вашего крема.

Я слез, дурак, и в тот же миг восемь рук схватили меня, подняли и бросили, плашмя, мордой об пол. И, по-моему, я еще не успел приложиться щекой о шершавые доски пола, как на руках у меня защелкнулись наручники. Чуть ли не в полете, ей-Богу!

Тут же меня обшарили, отобрали крем, подняли и заперли в рабочую камеру, отделив от остальных зеков. Что именно я произносил при этом, какие слова рычал — я воспроизвести не берусь. Я высказывался «в беспамятстве почти молитвенном», по выражению Пастернака. А если бы я тогда знал замечательную повесть «Москва — Петушки», я бы не сомневался, что ангелы говорят мне: «Фи, Юлий!»

Сине-багровая ссадина на скуле держалась с неделю, не меньше, приводя в уныние лагерных оптимистов.

Ну, так как? Били меня, или не били? С одной стороны, с другой стороны . . . Верней всего сказать так: «Один раз ножом живот стукнули» . . .

Нет, я не видел битья. Мучительство — видел. Был у нас такой старший лейтенант Кишка. Все называли его с ударением на последнем слоге, а между тем он был всего-навсего Кишка, то есть «кошка» в переводе с украинского. Вполне приличная фамилия. Но так уж он как стал в России, так и остался Кишкой для начальства, для коллег и уж конечно для зеков. Он был тихоголовый, наш Кишка, никогда не шумел, не выходил из себя. Ни когда накладывал взыскан-

ние, ни когда занимался физзарядкой со стариками-инвалидами: «Костылики положите на землю. Делай: раз-два! . . .» Он не повысил голоса и тогда, когда легонько, не напрягаясь, поворачивал и двигал кисти рук заключенного, на которого были надеты наручники. А наручники — у нас говорили, что они устроены по американскому образцу, спасибо Соединенным Штатам, — наручники при каждом движении автоматически сжимались, браслеты впивались в тело. А Кишка говорил вполголоса, обращаясь на «вы», о том что нельзя нарушать установленный порядок, что карцерный режим надо выполнять, иначе могут быть неприятности. Он забыл закрыть дверь в дежурку, наш вежливый, наш тихий Кишка, и мы с товарищем видели и слышали эту сцену через коридор, в окошко рабочей камеры . . .

Драки среди заключенных были редкостью в лагере, все-таки политзаключенные, не шпана уголовная, не «топ-стоп» какой-нибудь. Впрочем, не само избивание, а результат его я однажды видел.

На 11-ом, в Явасе, был, само собой, ШИЗО, а при ШИЗО был дневальный из зеков, литовец Паулаускас, здоровый такой мужик лет 45—50. Быть дневальным при ШИЗО — это само по себе позор, но Паулаускас к тому же был и сволочью. Прозевают, бывало, надзиратели при обыске курево или еду («подогрев», по-лагерному), а Паулаускас укажет. И не то, чтобы втихаря наступит, а тут же, в наглую, открыто, да еще и ухмыляется. Терпение лопнуло, и какие-то зеки, отсидевшие свой карцерный срок, пришли к литовцам и сказали: «Вы, ребята, как хотите, а Паулаускаса вашего мы отсиделим. Он гад, падло, сука, и мы ему сделаем темную». — «Ни в коем случае, — ответили литовцы, — вы сами сказали, что он наш, значит, это наше дело. И пальцем не смейте тронуть». С тем ходоки и ушли, разочарованные.

Я видел Паулаускаса через несколько дней после этого разговора. У нас в лагере кого только не было? И славяне, и евреи, и кавказцы, и азиаты, и прибалты, и немцы — «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Разве что негры у нас не сидели. Так вот, Паулаускас после беседы с земляками вполне мог выступать от имени черного большинства Родезии. Лицо его было черно-фиолетовое, а на черном проступал узор — охра и сурик, вроде боевой раскраски северо-американских индейцев . . . Тут нет ничего удивительного: литовцы больше других прибалтов склонны к декоративно-прикладному искусству.

Я ВЕДЬ ЛИТОВЕЦ, МНЕ НУЖЕН ПЕРЕВОДЧИК . . .

Говорят, что несколькими годами раньше режим был посвободней, было полегче со свиданиями, с посылками, с работой. Наверно, так оно и было; но я точно знаю, в чем преимущество моего времени. Если так называемая «дружба народов» вообще возможна, то максимальное приближение к этому состоянию я наблюдал и испытывал с весны 1966-го — мое лагерное время. Я говорю только о лагерном времени, начало и конец моей арестантской карьеры пришлось на Лубянку, Лефортово и Владимирскую тюрьму.

Должен сразу оговориться: мои отношения с «иноплемненными» складывались по-особому: легче и душевнее, чем у многих других. Это не значит, что у других россиян не было товарищеских или дружеских связей с украинцами, прибалтами, кавказцами. Просто мои связи возникали проще и быстрее. Во-первых, для большинства я не был «таинственным незнакомцем» — меня достаточно отрекомендовала пресса; во-вторых, я был литератором, который не только по филологическому образованию, но и по работе своей, по переводческой практике был накоротке с культурой очень многих народов нашей «одной шестой».

Первое общение было, разумеется, с кавказцами. Ну кто же, как не кавказцы, раньше других скажут: «Заходи, дорогой, гостем будешь!» Вот меня и позвали, не этими, конечно, словами, а просто мой однобригадник и сосед грузин Антон Накашидзе подошел ко мне и сказал:

- Юлий, наши кавказцы зовут вас посидеть за кофе.
- Грузины?
- Не только грузины. Идемте, сами увидите.
- А это удобно? Ведь я их не знаю.
- Удобно, удобно. Они вас знают. Идем.

. . . Как будто я снова оказался в Тбилиси, или в Цхинвали, или в Грозном, или в Нальчике, или в Орджоникидзе. Смуглые лица, чеканные профили, подчеркнута уважи-

тельные приветствия (не как-нибудь, по-русски — сунул ладонь: «Привет, мол, присаживайся»: нет, руку тебе пожимают бережно, двумя руками сразу, наклоня голову). Сначала вопросы о здоровье, о семье; потом, понемножку — о твоём «деле», о следствии, о суде. Вопрос перво-степенный: «как себя вели друзья?» Узнав, что друзья остались друзьями, радуются. Беседа идет чинно, как будто совершается некий церемониал, чуть-чуть, на один градус, на одно деление значительней, чем того требует предмет разговора. Благожелательность есть, а короткости покамест нет. А что если . . .

Я аккуратно перевожу разговор на свою доарестную работу, говорю о поездках на Кавказ — но не о курортных красотах, не о винах и шашлыках — нет. Я цитирую Руставели и Саят-Нову, Низами и Хетагурова, поминаю Пиромсани, Сарьяна и часовни, посвященные Частерджи — святому Георгию . . . О, как все меняется! Они оттаивают, они смеются, радуются, что я их знаю и люблю. Я ведь не лукавлю — я действительно люблю эту головокружительную поэзию!

Сейчас, когда столько близких мне людей оказалось в своей добровольно-принудительной эмиграции, мне легко представить, как они (или я?) могут обрадоваться, встретив где-нибудь в Барселоне какого-нибудь беженца, ну, допустим из Ирландии, вдруг знающего наизусть стихи Самойлова и Окуджавы . . .

Так я нашел пароль, «Сезам, откройся!» и потом всюю, с неизменным успехом пользовался этим.

О двух кавказцах хочется мне сказать. Нет, я помню всех, или почти всех: и Али Хашагульгова, молодого ингушского поэта, и братьев Кебалия, и рыжего поэта Хачика Сафаряна, и пожилого осетина поразившего меня верностью адатам, и хромого чечена Иссу, и многих других. Я помню и того грузина, который как будто сошел с иллюстраций к поэмам Важи Пшавелы. Я забыл его имя, хотя эпизод, с ним связанный, я не забуду никогда. Может быть, я еще расскажу о нем — в другой раз.

А сейчас — об этих двух.

Антон Накашидзе был танцовщиком в кутаисском ансамбле и во время гастролей в Англии драпанул, возвав к британскому гостеприимству. Сейчас такие пируэты стали обычной фигурой в советской хореографии, а тогда это было в новинку. Он выступал там с концертными бригадами от Би Би Си, мотался по Европе, и все было бы прекрасно, если бы не грузинское чадолюбие. Дочка осталась в Кутаиси, вот в чем беда. И Антон дал себя уговорить, и вернулся, и полгода жил в своем городе, и его фотографировали на фоне фонтанов и вечнозеленого кустарника для советской и зарубежной прессы. А потом его взяли. И припаяли десять лет. И пошли иные фуэнтесы в его творческой биографии.

Кстати, смех-смехом, а профессия спасла ему жизнь. Он, как и я поначалу, работал в аварийной, то есть в грузинской бригаде. И как-то во время разгрузки леса он вдруг увидел летящий на него по наклонным слегам огромный многопудовый «балан» — гигантское бревно, увидел в метре—полтора от себя. Он прыгнул назад, не оборачиваясь, спиной, прыгнул в проем между штабелями, рискуя разбить голову или раздробить хребет о торцы бревен, — и в полете перевернулся, лицом вперед, и упал, как кошка, на четвереньки. Вот, поди же, в какую передрыгу пришлось вмешаться кавказской Терпсихоре!

Антон был одним из тех троих, с которыми я сошелся на удивление быстро. Мы вместе ходили на работу, жили в одном углу барака, пили запретный чифир и дозволенный кофе и бесконечно много разговаривали с Антоном — больше всего об искусстве. То, что театр, сцена, живопись, точнее живописность, были ему сродни, — не удивительно: он все-таки был артистом; но как смело и свободно, сходу, без подготовки, стал он разбираться в русской поэзии — это меня потрясло. Ведь все-таки русский язык, хоть он и говорил по-русски очень чисто и почти без акцента, не был ему родным. А он взял у меня книгу такого сложнейшего поэта, как Марина Цветаева, и сразу же, с первого чтения, выделил и переписал себе несколько стихотворений — только шедевры.

Были в его характере легкость и податливость — качества прелестные в общении, но опасные в экстремальных условиях: легко можно растерять критерии, покаяться вниз, слиться с теми, кто махнул на себя рукой . . .

Всем нам угрожала опасность спиться (благо спиртовой лак был под рукой), опуститься до уровня лагерного дохода, утратить интерес ко всему, кроме жратвы и смутных мечтаний о «большой зоне». Антон был человек нервный и

болезненно чуткий к любому давлению извне. А давление было всегда — мерное, однообразное, направленное на сглаживание, уничтожение индивидуальности. Бог знает, какие силы помешали Антону уступить этому давлению — может быть его негибамый артистизм?

Так мы тогда и не перевели с ним дивные грузинские стихи — легенду о матери охотника и матери тигра... Десять лет я уже на свободе, а мы так и не встретились, не посидели за бутылкой вина. Ни в Грузии, ни в Москве... И хотя я знаю, что он, как и я, наверняка постарел и изменился, мне почему-то кажется, что здесь, на Кавказе, я увидел бы его не таким, как в Мордовии — вечно усталым и грустным, а лихим, задорным, с победительно вздернутым грузинским профилем — как на той молодой фотографии, которую он мне показал как-то в лагере.

Здесь, на Кавказе... Я пишу эти строки в Дагестане, на самом берегу Каспия, осеннего, холодного, и все равно прекрасного. Горы где-то там, далеко за спиной, от них нас отделяют степь, поля, виноградники, а прямо над нами, над узкой приморской полосой — известняковые холмы, похожие на разрушенные крепостные башни. Странная страна Дагестан, непонятная, неожиданная. Я сейчас, через сто с лишним лет, шкурой чувствую недоумение, озлобленность, покорность, оторопь русского солдата, бредущего по этим крутым пыльным дорогам, среди этой до остервенения чужой природы, волокущего на себе громоздкий воинский скарб. «Угоняют нас от вас на погибельный Кавказ...» Зачем? «Шамиля воевать...» Зачем? «Бунтуется...» А-а...

Только один раз я соприкоснулся с дагестанской поэзией: переводил стихи Етима Эмина, лезгинского поэта; он оплакал беду, разорение, гибель, проклял тяжкую поступь империи и скорбно помянул Хаджи-Мурата, не зная о том, что его земляк навеки прославлен русским офицером.

Впервые я попал в Дагестан совсем недавно; может быть, поэтому я так мало говорил о нем в лагере с Нажмутдином Юсуповым, или Николаем, Колей Юсуповым, как называли его там. Это был самый сильный человек, которого я близко знал за всю свою жизнь, гигант, богатырь. Огромный, широкоплечий, ловкий и подвижный, он с одинаковой легкостью поднимал неимоверные тяжести и бежал по баскетбольной площадке. — Как-то он вдвоем с одним литовцем разгрузили вагон угля — на эту работу наряжалось 16 человек, по одному на люк, — и разгрузили они вагон примерно за то же время, что и полная команда. Когда его перевели на цеховую разгрузку-погрузку, он по незнанию дела, начал было один ставить на тележку серванты, требовавшие четырех грузчиков... Как-то раз начальство, по недосмотру ли или решив пошутить, назначило меня ему в напарники — сбрасывать гравий с железнодорожной платформы. «Ты покури, — сказал мне Коля, — я сам управлюсь». — «Что ты, — ответил я обиженно, — как можно? Ты будешь работать, а я сидеть!» И я, вооружившись совковой лопатой, полез на платформу. Я стоял спиной к нему, набирал полную лопату гравия, тащил ее к краю платформы и сбрасывал вниз. Через 20—30 лопат я выдохся и, остановившись, обернулся. Треть платформы была уже очищена, а Коля, погружая лопату до самого дна, шел, как бульдозер, поперек платформы. Минут через двадцать я отдышался, но все уже было кончено...

Он был всегда сдержан, спокоен, благодетелен, впрочем, я не думаю, что кто-нибудь осмелился раздражить его или оскорбить.

Только познакомившись с Юсуповым, я понял, как фальшивы все наши удивления и восторги по поводу знаменитых кавказцев и азиатов. «Ах, простой горец, неграмотный, необразованный — представьте себе, сочиняет из-зумительные стихи! Ах ашуги! Ах, акыны!» Да, он неграмотен: не умеет читать и писать — по-русски. Он читает и пишет по-арабски. Да, у него нет образования — европейского. За его плечами всего лишь великая культура Ближнего и Среднего Востока.

Наши восторги — не что иное как невежество и высокомерие...

Юсупов не был ашугом, и читать-писать по-русски он, конечно умел; но главные корни его знаний уходили вглубь культуры ислама — я разумею светскую культуру, хотя не уверен, что ее всегда можно отделить от религии. Сам же он на вопрос «Коля, ты в Аллаха веришь?» обычно отвечал любопытствующим: «Я верю в мою маму, а она верит в Аллаха...» О, это не просто отговорка, это очень многозначительная формула для советского мусульманина.

И вот сейчас, здесь, когда я вспоминаю этого красивого, сильного, по-настоящему интеллигентного человека, мне

хочется позвать: «Эй, люди! Где же ваш и мой земляк, Нажмутдин Юсупов? Счастлив ли он? Благополучен ли? Эй, аварцы?»

... Лето 1966 года. Воскресенье. Под навесом, за столом летней столовой мы сидим, чинно и торжественно. Нас человек сорок, не меньше. На столе разложены книги, журналы, газеты. Вокруг мечутся надзиратели. Они понимают, что происходит что-то непредусмотренное, что-то оскорбительное нарушающее идею лагеря. Но придаться не к чему: литература на столе — советских изданий, чифира нет, шума тоже, говорят по очереди о чем-то непонятном. Вспотев от злости и недоумения, они слушают. А есть что послушать!

Мы справляем день рождения Райниса. Доклад: «Жизнь и творчество Яна Райниса». Доклад: «Ян Райнис и европейская литература». Звучат стихи Райниса на латышском языке. На литовском, на эстонском, на русском, украинском, грузинском, армянском, ингушском, финском, немецком, туркменском. Какие-то переводы читаются по книжкам, некоторые стихи переведены специально для этого дня. По рукам ходят оттиски гравюры — портрет Яна Райниса, сделанный здесь в лагере. Мы расписываемся на обороте, причем на память эти листки плотной бумаги. (Он сохранился у меня, этот бумажный прямоугольник с профилем поэта и множеством разноязычных подписей на другой стороне.) Менты пишут кипятком. Один подскакивает и — почему-то мне, шепотом: «Вы еще за это ответите!» Меня отчего-то считают «возмутителем спокойствия» (по злорадному определению моего друга Леонида Ренделя). Но на этот раз я, ей-богу, ни при чем. Я — это я-то, писатель-то, письменник! — даже представить себе такое не мог. Ведь дело не только в демонстрации интернациональной солидарности арестантов (не без того, конечно!), а в том, что собрались разноплеменные любители поэзии, и Ян Райнис — не повод, а причина нашего собрания.

Разумеется, делились не только национальными ценностями. Валерий Ронкин прочел как-то лекцию по истории утопических учений; Вячеслав Платонов — лекцию по эфипской этнографии. Но в основном каждый все-таки просвещал других по части своей страны. Я помню рассказы Эна Тарто об эстонском фольклоре, Виктора Калниньша — о латышской литературе, Юрия Шухевича — о национальном движении на Украине.

Да, так вот, латыши славно отметили день своего поэта. Вообще, надо сказать, что они были самым дружным, самым спаянным и самым горластым землячеством. И то сказать — именно латыши были представлены в основном молодежью. «Стариков» среди них было сравнительно мало, не то что у литовцев и украинцев. Они были как на подбор, рослые, веселые, компанейские ребята, мастера на злой розыгрыш начальства, не дураки выпить, отличные спортсмены. Ах, боже мой, как я залюбовался этими арестантами, когда впервые увидел их на баскетбольной площадке не в лагерной робе, не в тяжелых башмаках и дурацких шапочках — нет, в трусах и майках, стройных, поджарых, мускулистых! Как прекрасно смотрелись рядом с ними надзиратели — нескладные, мешковатые, тощие, обрюзгшие! Уныние, чуть ли не зависть, были на физиономиях тюремщиков: вот, мол, их посадили, заставляют вкалывать, жрут свой позорный паек — и на тебе, играют! Мало их приморили, гадов! Ничего, вы еще дойдете! Что правда, то правда — запалу у молодых хватало на 3—4 года, потом они начинали сдавать, болеть, уставали...

В то же лето подошел ко мне маленького роста человек, худощавый, лет сорока, и начал разговор так, что я чуть не подпрыгнул от несоответствия этих оборотов обстановке. — Он сказал: — Здравствуйте. Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я обращаюсь к вам, не будучи представленным. К великому моему сожалению у нас нет общих знакомых. Поэтому я осмелился...

— Что вы, что вы, — сказал я, невольно впадая в его тон. — Сделайте одолжение, весьма рад...

— Меня зовут Кестутис Иокубинас. Я, как вы, вероятно уже догадались по имени, литовец. И я хотел был пригласить вас выпить со мною кофе — если это, разумеется, не слишком отвлечет вас от ваших занятий.

— Благодарю вас, я совершенно свободен и с удовольствием принимаю ваше приглашение, — ответил я в самой светской из всех доступных мне манер.

Мы сидели на травке, в каком-то укромном закутке, над расстеленным платком. Конфетки, кофе, у каждого своя кружка. Это тоже было необычно: кофе и чифир пили обычно из одной посуды, передавая друг другу, вкру-

говую; и дело было не в нехватке посуды, скорее всего у этой «круговой чаши» было ритуальное, обрядовое значение. Но для Кестутиса хороший тон был превыше всяких ритуалов.

Мы беседовали, и он, наконец, изложил мне свою просьбу. Перед этим он многократно заверил меня, что просьба эта — отнюдь не причина, а скорее предлог для знакомства.

— Если вы будете так любезны, я бы попросил вас не считать за труд и написать своим друзьям в Москву, чтобы они — разумеется, если это не будет им в тягость, — попробовали бы достать, — это, конечно, не обязательно, но может быть, у них найдется время — достать какую-нибудь литературу на суахили. Конечно, если это хоть сколько-нибудь затруднительно...

Вытаращившись на него, я сообщил ему, что это не будет затруднительно и проглотил вопрос, висевший у меня на кончике языка. А он, глазом не моргнув, и ничем не показывая, что заметил мое замешательство, так же плавно продолжал:

— Дело в том, что из всех африканских наречий — суахили...

— Слава тебе, Господи! Значит, суахили — это наречие. Но пялить глаза на него я все-таки не перестал. Вот как! Впору оглянуться вокруг; нет, все как надо — проволока, запретная полоса, вышки, бараки, мы явно не в институте Азии и Африки и не в ВОКС^е, а ему видите ли, позарез нужна литература на суахили!

Литовцы — вообще народ неожиданный. Я стоял за своим станком, когда возле меня появился высокий молодой парень и сказал:

— Выключите станок.

Я выключил.

— Идите за мной.

Так же послушно я пошел за ним. А он шел, прямой, деловитый, изредка строго оглядываясь на меня. «Должно быть дневальный из штаба, к начальству вызываю, — думал я. — Почему же однако мы плуём здесь между цехами?» В самом деле, что-то несусветное: какие-то узкие проходы, повороты, зашли в чужой цех, закоулок, другой, кладовка... Тут он остановился, повернулся ко мне и спросил, улыбаясь во всю физиономию:

— Выпить хотите?

— Разумеется, — сказал я растерянно.

Он налил мне из банки в кружку неплохо очищенного лака. Я выпил, передернулся, закусил хлебом, который он мне заботливо подсунил и вопросительно посмотрел на него. Он, продолжая улыбаться, сказал:

— Дело в том, что мне очень хотелось вас угостить, и я решил обойтись без предварительных переговоров. Вы бы еще отказываться стали...

— Я, — сказал я с достоинством, — от выпивки никогда не отказываюсь. Но этак вот можно напугаться до полу-смерти. Я ведь все-таки человек здесь новый.

— Ничего, теперь будете знать: как только захотите выпить — приходите. У меня всегда есть запас...

Он — Ромас Здригвявичус — был раньше студентом МИМО. Наверное, это там учат изящным манерам и обходительности? Про него рассказывали, что в каком-то другом лагере он попал под начало бригадиру («бутру») из угольников. Тот как-то покрывл Ромаса матом. Ромас положил инструмент на землю возле себя, сел на бревно и сказал:

— Говорите, я слушаю.

«Бугор» сначала замолчал, обалдевши, а потом захлебнулся руганью.

— Говорите, говорите, друг мой. Скажите все, что у вас на душе. Не стесняйтесь, я слушаю очень внимательно.

«Бугор» нерешительно выругался еще раз, потом попятился, плюнул и ушел, деморализованный.

И если уж вспоминать об анекдотических ситуациях, то как не сказать о Владасе Шакалисе?

Я не ошибусь, если скажу, что у него был самый рваный ватник на II-ом лаготделении в Явасе. Он — что для прибалта редкость — не только был, но и выглядел лентяем. Разболтанностью походки и полным пренебрежением к одежде с ним мог конкурировать только Эдуард Кузнецов. И так же, как в Эдике Кузнецове, во Владасе вибрировала постоянная, неукротимая воля к сопротивлению. Только проявлялась она у него весьма своеобразно.

За все его художества Владаса поволокли на так называемый лагерный суд. Там ему предъявили всякие-разные обвинения. Владас без особого интереса выслушал, опровергать ничего не стал, сделал лишь одно заявление и по-

лучил приговор в зубы: «Владмир до конца срока»¹ и его увезли.

Прошло около месяца. И вдруг я, зайдя в столовую, увидел знакомую телогрейку с торчащими отовсюду ключьями ваты!

— Владас, это вы?

— Я.

— Какого черта! Вас же увезли во Владимир, почему вы здесь?

— А меня на пересуд привезли. — Владас радостно оскалился в полном соответствии со своей фамилией.

— Почему?

— А я написал заявление верховному прокурору, что был нарушен процессуальный кодекс.

— Как нарушен?

— А я требовал переводчика. Я ведь литовец, мне нужен переводчик. А мне не дали переводчика. Я написал жалобу, и пришло распоряжение везти обратно и судить заново, с переводчиком, чтоб я все понимал.*

— Ну, Владас... Таких нахалов как вы... За каким дьяволом вам все это понадобилось?

— Ну, как же: ехал туда, ехал обратно — все-таки развлечение. Здесь вот, в лагере, снова с друзьями повидался. Ну, а потом — начальству-то за меня фитиль вставили, тоже приятно... Почему только лихие проделки, только неравное наше противостояние подсовывает память? Пещерную живопись, которую мы пытались расцветить тюремные и лагерные стены... Шутки — шутками, а Владаса Шакалиса ожидала Владимирская тюрьма, с ее чудовищным бытом, голодной нормой, тоской и тем, что хуже одиночества, — принудительным соседством.

ХОТИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ ПОЭТОМ?

Март. Весна уже проклюнулась, но снег еще лежит, еще холодно, и сараюшка, где свален инструмент, — топоры, пилы, багры и прочая снасть — все еще притягательный центр в рабочей зоне. Здесь есть печурка, здесь можно «заварить» — сделать чифир или кофе, покурить не на ветру. Хозяйством этим распоряжается Гунар, учетчик нашей аварийной (грузчицкой) бригады, молодой, высокий, очень сильный латыш. И естественно, к нему со всей рабочей зоны собираются земляки. Все, как на подбор, рослые, сильные, спортивные. Все — кроме одного. Этот тоже высокого роста, но худ фантастически, карикатурно. Длинные, тонкие руки, сквозь проданные на колена рабочие брюки видна нога — трость, палка, обтянутая кожей, очень светлые глаза кажутся огромными от впалых, втянутых щек. Он смотрит на меня с интересом, но без той жадной готовности к общению, которая бурлит в большинстве лагерников (я — личность популярная, разрекламирован газетными заранее). День, другой, третий, мы перегибаемся, вежливо наклоняем головы при встречах — соблюдаем политес. Наконец учетчик Гунар говорит: «Юлий, хотите познакомиться с нашим поэтом?» — «Разумеется». — «Эй, Кнут!»

Так я знакомлюсь с Кнутом Скуеннексом. Он отбывает семилетний срок за «особо опасные государственные преступления»: написал одно сомнительное стихотворение, держал дома «Британскую энциклопедию» и не донес на знакомых. Знакомые, кстати, тоже не сахар: они рассуждали о том, как бы так устроить, чтобы Латвия была на положении Польши или Румынии. Ну, и получили, соответственно, большие сроки.

Само собой у нас с ним оказались тысяча общих знакомых и миллион общих интересов. Главный из них — стихи. Он здесь написал и перевел уйму стихов, усердно занимался языками, прочел бездну книг. Вообще он живой упрек мне — бездельнику и сибариту. Еще такой же упрек — Андрей Бизельский, но он хоть не на глазах у меня, с ним меня начальство предусмотрительно развело по разным лагерям...

К моим поэтическим опытам Кнут относился снисходительно-поощрительно: «Ничего, Юлий, вы еще будете писать злее...» Наверяд ли. Сам-то он пишет отнюдь не зло, а с бесконечной грустью, с безнадежностью:

* Все это Владас изложил мне, как всегда, на безукоризненном русском языке, без тени иноязычия. И речь его была красивой, непринужденной — дай бог московским юристам!

Христос будет распят, убит — и воскреснет, сорвавшись в небо с гвоздей;

идея — контридеей.

Спокойней и выгодней время считать от тех до этих дождей.

А если они радиоактивны?

или

Локомотив — грохочущий колосс, жизнь яростная, адава работа котла, прокладок, вентиляей, колес — и полный ход! И полная свобода!

Определенная в одном направлении — по рельсам.

Латыши-лагерники старшего поколения относились к Кнугу холодно: им было непонятно, как можно не заниматься и не интересоваться политикой. Они это считали чуть ли не предательством. По-моему, предательство было бы, если бы он ушел от литературы в политику, если бы не появились его исследования по фольклору, если бы не зазвучали на латышском Лорка и Габриэла Мистраль, А. Н. Островский и Гоголь, если бы он не перевел великую молдавскую поэму «Миорица»...

Недавно вышла первая и пока единственная тонкая книжечка его стихов, но стихи, вроде тех, что я цитировал, в нее, конечно, не вошли. Не вошла и не войдет маленькая поэма «Не оглядывайся», которую он написал в Мордовии и которую я там же перевел на русский.

БАБЫ — ЧТО?

Это страшная тема. Приступать к ней трудно, тягостно и опасно — потому что «не по чину»: здесь нужен бы психолог, философ, ученый. Ее, эту тему, как правило, обходят, опускают все мемуаристы, вспоминатели, бытописатели. Тема эта — оторванность от половой жизни, принудительное воздержание.

Все — в малом количестве и скверном качестве — предоставляет человеку заключение. Дом: вместо своей квартиры, комнаты, постели есть все-таки барак, камера, койка; есть хоть плохие, но настоящие составляющие дома — стены, пол, потолок, тепло.

Еда: постная баланда, сырой хлеб, гнилые овощи — все это омерзительно, но это пища с ее изначальным назначением.

Одежда: бушлат, роба, башмаки, белье — они все же прикрывают наготу и как-то греют.

О духовной жизни и говорить нечего: отсутствие театра, свежей литературы, музыки, изобразительного искусства с лихвой возмещается мыслью, которая вдруг обретает остроту, силу, интенсивность. И питательную среду.

А как же с этим? С той областью, к которой человек никогда не привыкает, которая всегда потрясение, цель и стимул? Лишенный ее природой — урод, калека, недочеловек. Лишенные ее людьми — мученики.

... В умывалке цеха, во время перекура, сорокалетний мужик, обычно довольно сдержанный, как с цепи сорвался: со вкусом, со смаком описывает половой акт, напирал в особенности на звуковую сторону. Я, очевидно, поморщился, потому что он, глянув на меня, прервал свой гимн:

— Что, Даниэль, не нравится?

— Не нравится.

— А ты сколько времени с воли?

— Месяцев восемь.

— Ну, у тебя еще домашние пирожки во рту не прожжены. Посидишь год-другой — не так еще запоешь...

Год-другой! А он сколько лет без женской близости? А бывает и так:

В столовой (она же — клуб) буянит парень лет двадцати семи. Он пьян, набрался лаку в рабочей зоне, чудом прошел через вахту и теперь гуляет. Его раздражает (или восхищает) все, что попадает на глаза. Попался я.

— Писатель! А я тебя в цеху искал! Выпить с тобой хотел! Писатель!

— Иди в секцию, браток. Менты увидят — в шизо загремишь.

— Ты! Писатель! Как ты можешь со мной говорить?! Что ты понимаешь?! Ты баб, как куколок, ..., а я за всю жизнь живой ... не видел!

— Ни разу?

— Ни разу, ни грамма, бля буду! (слезы)

— Ну, брось, не реви, скоро выйдешь — все будет.

— Да, все будет! А чего я смогу? Кто до двадцати пяти не пробовал — у того на бабу и стоять не будет.

— Брехня — говорю я убежденно. И вдохновенно вру: Я сам в первый раз в двадцать шесть начал.

— Забожись! ..

Божусь. Он, размазывая слезы, бредет в барак.

Откуда эта цифра — 25? Может, по аналогии с 25-ти летним сроком? Литовец, обрусевший в лагерях, тянет последний год из 25-ти. К нему приехала жена (года три не приезжала). После работы — на свиданье. Он уже чисто выбрился, надраил башмаки.

— Последний раз на казенной койке ...

После свиданья — мрачный, как будто ларька лишили. Молчит. Потом не выдерживает, матерится — с акцентом, но грамотно.

— Ты что, Петрас?

— С бабой ничего не вышло. Разучился.

— Глупости, Петрас? — как велосипед: раз научился — никогда не разучишься. Просто приморили тебя. Да и волновался небось?

— Братушки, да как не волноваться?! Жена ведь. Женщина. (И — с вопросительной интонацией). Ей ведь тоже не сладко — одной.

— Вернешься — все ладно будет ...

Вечером, в курилке, с достоинством отшучивается, отбечая на нескромные подначки, многозначительно ухмыляется ...

Гомосексуализм — не спасение. Даже активные педерасты (к которым «общественность» относится снисходительно) презирают пассивных, парии, отброс. Даже откровенным, «идейным», нет места рядом, нет доброго слова, глотка чаю. Одного такого «теоретика» я знал: здоровенный, квадратный мужик, с грузчицкой мускулатурой, с бельмом. Кличка — «Маша с серьгами» (он носил в ухе серьгу). В шизо на тесном пяточке — деться некуда — он рядом со всеми. Сидит, бубнит, ни к кому не обращаясь:

— Бабы — что? Ни фигуры, ни формы ... Как жидкое мыло. — Текет. А у мужика все к делу, все одно к одному ...

Скотоподобный «Аденауэр» (кличка) открыто онанирует над журналом «Работница», открыв его в разделе «Моды» ...

Это — уже свихнувшиеся, конченные. А остальные, если еще не пришла спасительная старость, страдают — кто молча, кто изживает себя в разговорах.

Боже, какие только легенды не ходят о находчивых смельчаках, умудрявшихся в лагере или в тюрьме перехватить минутку близости с женщиной! Как гордо посматривают они вокруг, сами поверив в свою выдуманную доблесть! А на деле — всего лишь жалкий подвиг, о котором с ужасом и восторгом мне 25-летний красавец-латыш:

— Вы знаете, Юлий, что Т. сделал? Там по штабелю, сверху счетоводша из бухгалтерии проходила. Так он спрыгнул со штабеля вниз, в грязь, и пошел за нею, под юбку заглядывал! Трусики, говорит, у нее зеленые ...

А на деле — ежедневные, еженощные фантазии на эту проклятую, эту вождеденную тему! Перебираешь в памяти своих подруг — они все были прекрасны! Эротическая карусель в голове, мешанина из Брюсова и Ропса, туманные, но ослепительные картины будущего ...

АУОТС N'6

НЕВНЯТНОЕ ПРИЗНАНИЕ

(позтам, чья юность пришлась на 70-е годы)

Зачехлена трава. Вернее шум травы
примят глухонемым движеньем снегопада.
Все это хорошо. Но знаете ли вы:
ни снега, ни травы нам на земле не надо.

Попробуем сказать: «Тут падала трава,
здесь — рос огромный снег», — ничто не изменилось.
(Как насекомые — на лист — ползут слова:
От тяжести бумага накренилась).

Смотрите: жизнь прошла, как тетка в магазин,
а мы еще прикованы к застолью.
Нам невдомек расплачиваться болью,
мы не умрем, пока не досидим.

Мы плодородию сумели доказать,
что яблоко от яблони упало
так далеко, что ты пиши пропало,
солгав, «что у тебя живут отец и мать,
которым наплевать . . . » — гляди, и ложь устала.

Вот Пушкину не нужен логопед,
а мы до наглости косноязычны.
Ни снега, ни травы не надо. Нужен — свет,
который нас сведет практически на нет,
как профессионал застукав нас с поличным . . .

1987

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА

Раз! — и кончается жизнь. Подобие будет программой
судьбы. Освежеванной тушей, как жертва, валяется сцена.
Ты — вновь небожитель, а таргар залег оркестровою ямой,
и ложь здесь, как шлях, пешеходна на сорок рядов — за
бесценок.

Застигнутый в поле — не воин, когда за петлей горизонта
паркуются кресла, и кто-то, надкрыльями фрака фырча,
глядит из махрового мрака, всерьез принимая резоны
того, кто, застигнутый в поле, — не воин, но рубит сплеча.

И сеет гранитные зерна — интриги — гранитные зерна.
Вот черпает поле, качнувшись, кормю лиловый партер,
и воин с лицом спиртоноса, и с наглой походкой призера,
и воин, который не воин, ломает последний барьер —

и крупный помол монолога кончает ударом коронным
рапиры, отравленной насмерть, что сталь задыхалась в
клинке,
а ты был уверен, что дело здесь только в отцовской короне,
а тут научили повиснуть от вечности на волоске,

но исповедь целого зала становится клюквенной кровью.
Ты, пуганный букою в детстве, тебя — не возьмешь в
оборот,
ты — вновь небожитель и знаешь целковую цену условью,
что здесь умирают не часто, но кто умирает — умрет.

Потом ты уходишь, и вечер, как мех, выпускает погоду:
старинную русскую слякоть среди крохоборства дождя.
И после таких посещений ты часто смеешься по году:
«Хотели меня околпачить!» Тебя околпачить нельзя . . .

1983

КОНСПЕКТ

Троянские кони пасутся у стен Сталинграда.
Гришку-расстригу венчает на царство народ.
Ливень уральский вприпрыжку планету клюет.
Парами дети выходят из детского сада.

Под Сталинградом затихли, дымясь, батареи.
Плачет радистка, что сели опять батареи.
В доме моем, точно кошка, урчат батареи.
На чердаке из-под «Ессентуков» батареи.

Скоро аграрии с Арго распашут Колхиду.
И завершится стоматологический сеВ.
Греция — это центральный музей Помпиду.
Пермь — это снег и сугробов невзвешенный Вес.

Чтение водит меня по широкому кругу.
Соль расстается со мной: я вспотел, как штангист.
В срезе деревьев лежит, как в гербарии, вьюга.
Свищет звезда, и лучом обозначился свист.

1984

* * *

Не мучь ветеранов любви пасторальной сказкой о счастье.
Смотри, как надежен их бруствер морщин возле глаз.
(Транслирует осень: погода разъята на части.
На злом полигоне под Пермью ругается грязью фугас.)

Они заблудились в бамбуковой чаще уральского ливня,
их будят под утро холодные локти разлуки.
Их отдых в Крыму — он сродни одиночеству бивня
в районном музее, где пыль мезозоя да кот сторожили-
старухи.

1981.

ДУШЕЩИПАТЕЛЬНЫЙ РОМАНС

В камском порту объявился Гомер.
Псиной разит полуистлевшая Кама,
крысы в пакгаузах топают на манер
стада диких слонов. (Для начала романса не мало?)

Злая вода, изучившая спектр павлина,
как железяка, грохочет на каменном дне.
Неподражаема баржа, сиречь ундина
в пятнах бензина при ясной луне.

Город стоит за спиной деревянной коня,
в прожекторах на кифаре Гомерище воеет
(первые звуки уже рассмешили меня):
«Слышу и запах, и гул догорающей Трои...»

1987

ЭПИТАФИЯ

памяти Андрея Тарковского

... и что кроты наследники Гомера
и норы их длинней, чем Илиада —
такой расклад, поверь мне, не химера,
хотя на слово верить мне не надо.

Убитый снег упал лицом на поле.
Кто был охотник, кто дуплетом бил,
кто говорил, что есть покой и воля?

Я это никогда не говорил...

1987

ПРИСУТВИЕ

Пружина от земли пучками свежей стружки,
не выдержав сравнения с лодыжками атлета,
над бывшим пустырем подпрыгнула лягушка
и шлепнулась на брюхо — свалкой Вторчермета.

И будто на молекулы излузгали факира
индийского, и он лежит, как свалка и как факт.
Для пущей достоверности: мол, это вправду было —
стоит почти без лошади факировский фаикр.

Под свалкой, что старевщиком-шабашником наляпана,
шла подземельной кривою убитая вода
по слалому подземному из города Челябинска —
канализационная: сама себе вдова.

А на воде невидимой ковчегом свалка взвешена,
вот выбрать якорь сдюжила и — в волны с кондачка.
И машинально мертвая за нею — темень здешняя
солярным шлейфом, а в глазах — по два, по три зрачка.

Как оперная ария, весна непрерываема,
вернулся птичий бумеранг: коль скоро вот — грачи.
В каптерке свалки глушат чай под всполохи трамвайные.
И пьется чай, трамвай стучит, чай пьется и горчит.

И в эту ночь никто не свят: ни дочь, ни мать, ни мать ее.
И брошенный отец пришел глядеть, как свалка спит.
А как вам это понимать? Ну, слушайте внимательно:
ответом на такой вопрос любой по гланды сыт.

1984

* * *

Где-то ниггер в Гарлеме лежит. Здесь лежит барнаульская
пашня.

Ниггер песню бубнит. Пашня петь не умеет — лежит,
и кривой бороздой за версту улыбается страшно,
и натек в борозду плодородия пенный жир.

Он опять подтвердит постулаты районных ботаник, —
и студенты, как битых фазанов, потащат турнепс
за тугую ботву. После выпадет снег и растает,
я на поле приду по весне и скажу наконец:

«Где-то ниггер в Гарлеме лежит, как лежит барнаульская
пашня».

Я на пашне стою, расступись, говорю, расступись,
сволоки меня, к чертовой матери, к тем, бесшабашным,
что какое столетье, какое столетье спускаются вниз.

Девять дён я для них буду пахнуть весной сырокожей,
надышавшись землей, стану тучен, тяжел и ленив —
не поднимешь меня, и своей погребальной рожей
я медузу Горгону сумею свободно пленить.

Ладно, будет болтать. Расступись, говорю, и на этом
я закончу рассказ и в грунтовые воды войду,
и до центра земли доплыву уже в этом году,
где закрою глаза, ибо слишком достаточно света.

Темнота не жена, но, возможно, подруга поэта.

1984





ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

ЯНИС РОКПЕЛНИС

РОЗА

1

Возьми-ка топор покрепче,
прорубись сквозь навозную кучу,
сквозь судьбу, сквозь судьбу дремучую,
покуда еще не вечер . . .

2

Вы видите розу,
ту дивную розу,
что камертоном чистит хлев!

Перевод ИРИНЫ ЧЕРЕВИЧНИК

Эту розу — несомненно, Вы видели ее. Может быть, не обратили внимания. Может быть, она — это Вы, или мы все — в это странное время. Не тогда, когда возникли эти стихи — лет 15 тому назад — но именно сейчас.

Вчера в редакцию позвонил читатель, долго кричал в трубку стихи из разных номеров «Родника» и утверждал, что видит в них только бессмысленный набор слов. Если это были Вы, то эти стихи не для Вас. Но трудная работа розы от этого не прекратится. Приглядитесь внимательней к прохожим . . .

Аманда Айзпуриете



ОДИН ДЕНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

РАССКАЗ

Бартову

Не скрою, за граница мне весьма не понравилась. Я нашел ее совсем не такой, какой она мне до этого казалась, а вернее, мечталась.

Должен сказать, что первое, что бросается вам в глаза, попадая за границу, это то, что вас при въезде раздевают и заставляют отправиться в баню, где, выдав вам шайку горячей воды и кусок скользкого мыла, вас оставляют на некоторое время голым, соответственно отобрав вашу одежду: нижнее и верхнее белье, предложив расписаться в определенной книге, где ясно видно, что от вас получено столько-то и столько-то вещей под таким-то и таким-то наименованием.

Тут же, в предбаннике, вас стригут; шум при этом стоит невообразимый, ибо турист впервые попавший за границу находится в великом смущении: еще недавно он был дома, в семье, при полноценной шевелюре, а иногда и борде и бакенбардах, и вот теперь он должен быть острижен и обрит.

Подобного унижения не всякий может вынести, и я сам лично видел, как один из туристов-таки заливался слезами: он никак не мог примириться с тем, что он будет острижен и обрит и из нормального, как он называл себя, человека, он постепенно превратится в обезьяну.

(Причем тут обезьяна — трудно было в данном случае понять. Как известно, обезьяна обладает нестриженным волосом, а кроме того, известной красотой и изяществом, чего я не заметил после стрижки туристов.)

Впрочем, он сокрушался и о том, что по приезде из заграницы в таком виде ему будет стыдно явиться в институт, стыдно будет взглянуть в глаза коллегам, уж не говоря о начальниках, которые не потерпят подобного вояжа.

— Карьера моя окончена, — с грустью говорил мне этот человек, проклиная то обстоятельство, что он попал за границу, — подобные поездки чреватые дурными последствиями.

Сидя на каменных лавках перед шайками и помогая друг другу намыливать спины, мы обменивались некоторыми впечатлениями, одновременно посматривая друг на друга, на голых и вполне сложившихся мужчин тридцатилетнего возраста, никогда ранее не бывавших за границей.

Я отметил у моего собеседника небольшое брюшко и то, что его мужское начало выглядело несколько унылым, и не мог сдержать улыбки.

— Ах, как жизнь и обстоятельства иногда влияют на наши мужские особенности, — не без иронии думал я. — Ведь покажи ему сейчас самую, что ни на есть, раскрасавицу, он с негодованием отвернется от нее. Вместо того, чтобы и при этих обстоятельствах искать пути если не наслаждения, то, по крайней мере, благодущия.

Кроме того, оказаться в подобных условиях, для человека умного, всегда не лишено любопытства, ибо не каждый раз он попадает за границу, даже если это падение и производит на него удручающее впечатление...

В банном пару, в чаду, под низким сводом, с несколькими тусклыми лампочками, с остриженной головой и со своим, как мне казалось, преувеличенным горем, этот человек мне казался несколько смешным.

Увидев мою улыбку, он воспринял ее как одобряющую и поэтому тоже улыбнулся, что говорило о том, что этот человек незлобив и даже способен забыть на какое-то время свое несчастье и может быть естественным и простодушным.

Постепенно мы разговорились, тем более, что наши интересы где-то сходились, ибо Иван Иванович, или, как он просто просил себя называть, Ваня, был кандидат, а в частности, занимался философией эстетики, одновременно читая лекции студентам в каком-то институте, название которого я запомнил.

Я же всегда интересовался прекрасным, вот отчего эстетика и мне была не чужда: в свое время я почитывал Аристотеля и Платона, а кроме того интересовался эстетикой средневековья, хотя и не одолел ее высокой премудрости, ибо не получил хорошего образования и был, что называется, самоучка.

Одно время я даже подумывал стать писателем или, как еще говорят, литератором, но не выдержав сомнительной стези бегания по редакциям, а кроме того, скептически относясь к возможности быть официально признанным и в то же время сохранить свою индивидуальность, я решил быть тем, что называлось в прошлом веке, умной ненужностью.

Окопавшись в сторожах и не имея больших денег, но имея большой досуг, я мог следить за, так называемой, литературной жизнью, в тайне давно уже мечтаю о загранице, вояж куда, мне казалось, будет исполнен для меня несомненного интереса, тем более, что эта тема, тема заграницы, с некоторых пор стала весьма актуальной: в нашей литературной действительности появились повести и рассказы и даже один роман, в какой-то мере затрагивающие эту тему.

А некто знаменитый географ и первооткрыватель нового архипелага составил огромный труд, где тема заграницы рассматривается со всех сторон: как и что надо делать, когда впервые попадаешь за границу: как себя вести в тех или иных обстоятельствах и что брать с собой и т. д. и т. п., а самое главное, как живут те или иные группы туристов, в общем громадный справочник, хотя и не всегда претендующий на объективное изложение фактов.

Он сам в свое время провел за границей около восьми

лет, срок довольно порядочный, чтобы не прийти к определенным умозаключениям, и поэтому хорошо разбирался в тонкостях заграничной жизни.

Надо сказать, что эта тема, тема заграничной во второй половине двадцатого века вытекает, как это часто любят говорить критики, из гуши народной, так что создается впечатление, что мысленный взгляд наших народов устремлен туда, в заграничную, вот отчего, очевидно, и родилась такая блестящая пословица, которая довольно ярко определяет это слово «заграница», а именно, «кто за границей не бывал, тот не человек».

Смелое, я бы даже сказал, весьма смелое утверждение, ибо в подобном случае в человеческой среде могут быть и не человеки, и человеческая среда обладает еще каким-то странным подвидом, который может быть определен новым, рожденным в нашем веке, словом: «нечеловек».

Кто он этот «нечеловек», пришелец ли иных планет? Или еще откуда-нибудь завелась эта зараза? Неизвестно.

Одно мне известно, что человек, не побывавший за границей, весьма часто характеризуется как «нечеловек», хотя, как ни странно, желания туда попасть я не встречал в этой самой, что ни на есть, гуще народной: чаще всего слово «заграница» вызывала у всех отвращение и страх.

Я же, как человек мечтательный и любопытный, в своих мечтах часто желал пройти все формы человеческого существования и побывать во всех уголках земли и среди разных народов, вот отчего мысль побывать за границей, хотя бы и на маленький срок не отталкивала меня, а привлекала своей таинственной, я не боюсь этого слова, пугающей новизной.

— Как там? И что там? — часто спрашивал я себя, лежа на диване под персидским ковром, чей орнамент рождал во мне воспоминания о мусульманском юге, где я провел несколько счастливых дней.

Одно меня смущало и удивляло, не давая мне покоя: как воспримут мои родственники, когда узнают о моем вояже за границу. Особенно одна из них, та, что в гневе и припадке ярости иногда желала, чтобы я туда поскорее попал.

В нормальном расположении духа заграница вызывала в ней страх.

— Нет, лучше жить тихо, но дома. Вот попадешь туда и узнаешь почем фунт лиха, — часто говорила она, — Чаю там тебе не дадут. Тогда запоешь.

Надо сказать, она оказалась права.

После бани, выдав одинаковую одежду, чей серый цвет оставлял желать лучшего, туристов повели в столовую, где за одним общим столом, на котором стояли алюминиевые тарелки и кружки, мы провели свой первый завтрак за границей.

Сидя рядом с моим новым знакомым, который с брезгливостью ворошил ложкой в тарелке, где находилось несколько ложек пшенной каши, я не без улыбки посмел ему высказать ту точку зрения, что прекрасное ни в коей мере не может находиться в сфере заграничной жизни, а значит и вообще жизни, хотя и есть тот рубикон, та колючая проволока, за которой оно начинается.

— Не скажу, чтобы я это понимал несколько лет назад, — сказал я ему. — Хотя это и являлось постоянным объектом моей мысли. Кроме того в данных условиях, я имею ввиду, условиях заграницы, инстинкт сохранения жизни, ослабление и усиление его, находятся в прямо пропорциональной зависимости как от тех испытаний, что лягут на плечи туриста, так и от него самого, ибо он вправе поставить вопрос: «быть или не быть?» И это «быть или не быть», само собой разумеется, — в этом месте я улыбнулся, — говорит о том, что душа человеческая сознательно и бессознательно проходит то, что в хорошо известные времена называли чистилищем, перед тем, как вступить в иную сферу, в сферу жизни и смерти.

Я закончил говорить и взглянул на моего собеседника, ожидая развернутого и обстоятельного ответа, что, очевидно, был ему присущ где-то там, дома, когда он «давал» лекции студентам.

Он сидел напротив меня и ел кашу. Кружка с кипятком и одним куском сахара были тут же перед ним. Кроме того на столе лежал кусок хлеба — деталь скудного завтрака туристов за границей.

— Какое уж тут прекрасное, — сказал мой собеседник и усмехнулся. — О каком прекрасном можно говорить, когда я чувствую, что к концу пребывания здесь будешь еле волочить ноги. Вы видите, что я вынужден есть.

И наморщив свой не лишенный красоты и изящества лоб, он мрачно добавил: «Что-то нас еще ждет. И черт меня дернул попасть за границу. Сидел бы себе дома. Вот когда домашний рай кажется настоящим раем, с полками книг, с женой, если и не слишком любящей, то, по крайней мере, неворчливой. Прекрасное — это жить в своей норе. Стоит тебе только высунуть голову наружу, как ее сразу же и откусят. Теперь: конец. Когда мы пересекали границу и нас осматривали и ощупывали пограничники, я уже понял, чем это пахнет».

И с раздражением отодвинув пустую тарелку, он стал пить кипяток, что, очевидно, доставляло ему удовольствие, ибо в столовой было холодно и было видно, как поднимается пар из горячих глоток сидевших.

Это напоминание о пограничниках навело меня на мысль о том, как я впервые подумал о загранице и как мне впервые пришла эта мысль: а что там? а как там? и не побывать ли мне самому там, испытав, что называется, на собственной шкуре то, что испытывали миллионы и миллионы туристов?

Надо сказать, что я уже давно решил, если можно так сказать, экзистенциально познать еще одну плоскость человеческого бытия.

Разумеется, я был не прав, ибо я забыл основную заповедь древнейших: «познай самого себя» и предался порочной страсти эмпирического познания, страсти к неизведанному и прекрасному.

Вот эта-то страсть к неизведанному и прекрасному, а в частности, к тому, что же там происходит за границей, и привела меня к тому, что я оказался там, где я не должен был оказываться, ибо ничего, кроме потери здоровья, физического и нравственного страдания, эта поездка мне не принесла.

Так самые любопытные животные попадают в расставленные человеком ловушки и сети.

И так великий Некто вершит над нами свой великий суд.

Должен сказать, что лет десять назад, будучи в археологической экспедиции, я имел возможность непосредственно наблюдать заграницу, а вернее, некоторый отрезок заграничной территории: небольшое пространство, покрытое желто-бурым травой, ибо был уже месяц июнь и трава выгорела на солнце.

Вдали за столбами с колючей проволокой виднелись какие-то выцветшие на солнце строения, еще дальше был виден горизонт, где время от времени поднимался белый пылевой столб, который медленно приближался к нам, я имею в виду нескольких человек, возвышающихся на кургане, и, минуя границу, с шумом и пылевой бурей пронеслись над нами, так что мы были вынуждены бросить лопаты и, обхватив голову, застыть в согнутом положении, подставив ветру спину.

Ветер стихал, пыль рассеивалась, и опять можно было видеть за идущей вдоль границы колючей проволокой эти выцветшие на солнце строения, в которых, очевидно, жили какие-то люди, но за дальностью расстояния от нас, они были не видны.

Иногда вдоль границы то в одну, то в другую сторону проходили пограничники, молодые ребята в кирзовых сапогах с карабинами через плечо, впереди на поводке бежала собака, чьи бодро торчащие уши и умный и всегда готовый исполнять приказание взгляд вызывал восхищение.

Хотелось, глядя на нее, спросить: «Неужели эта собака настолько умна, чтобы добровольно ловить нарушителя границы? Или дрессировка и необходимость существования толкают ее на это столь сложное дело?»

Иногда пограничники сворачивали к нам на раскоп и, расположившись на отвале и держа между ног карабины, застыли в той непонятной мне неподвижности, я бы даже сказал, сомнамбулической оцепенелости, когда о них можно сказать, что они задумались, но, спроси их, о чем они думают, они вряд ли на это что-либо могли сказать.

Так, не моргнув глазом, они готовы были сидеть часами, если бы не служба, заставлявшая их вдруг сниматься с места и направляться вдоль колючей проволоки, где через разные промежутки стояли столбы с лампочкой на вершине, с лампочкой вместо головы, с лампочкой под металлическим колпаком.

Надо сказать, что в этой неподвижности и молчаливой оцепенелости, с которой они смотрели, как мы работаем, было нечто раздражающее.

Хотелось, как и некогда о собаке, спросить: «О чем они в этот момент думают, когда смотрят на наши мокрые от работы спины? И не видится ли им в этот момент некий прообраз трудящегося человека, человека властителя, человека преобразователя природы, вершащего великие дела и свершения».

Или они просто устали от службы и вот теперь отдыхают как молодые побег, поникшие от жары и потому отдыхающие, когда на них падает тень от подошедшего к ним верблюда.

Трудно сказать. Но я до сих пор помню, как сыпался песок из-под их сапог, когда они вставали, как и помню, как собака часто-часто дышала, и соответственно этому дыханию дрожал ее влажный язык, торчащий из ее пасти.

Выпрямившись во весь рост и опершись на лопату, я видел, как они медленно, собака впереди на поводке, удаляются по пустыне, становясь все меньше и меньше, пока совсем не пропадали где-то вдаль, где-то на горизонте.

И глядя на открывающуюся моему взору заграничную территорию, с ее желто-бурой травой, с серыми, выцветшими на солнце строениями, я думал о притягательной силе видимого вдаль объекта, и желание уйти туда, где была какая-то неизвестная и потому привлекательная жизнь, заставляло меня томиться, так что иногда хотелось бросить лопату и, ни на кого не глядя, уйти туда, через колючую проволоку...

И понимая всю абсурдность, всю сумасшедшесть, в кавычках, этого желания, я думал о запрете, о тайнах запрета в человеческой жизни, о герметизме отдельных институтов и регионов человеческого существования и, с трудом подавив в себе наваждение, я старался не смотреть туда, где за колючей проволокой была такая же и в то же время не такая территория: пустыня, строения, горизонт; чья притягательность определялась одним лишь словом: «заграница».

Вот вдаль поднялся пылевой столб, вот он, вертясь и все убыстряя скорость, идет на меня.

А вот и подул слабый ветерок, скоро, скоро забьет пылью глаза, и ветер, просвистев в ушах, унесется куда-то в сторону от меня.

И наступит тишина, тишина июньского полдня, перебиваемого стуком работающих лопат и звуком шлепка по телу: то мухи или москиты — и стуком в голове: «заграница, запрет, тайна».

После завтрака всех туристов вывели на улицу, дабы продолжить их дальнейшее туристическое существование.

Шел дождь, и небо было серым и скучным, и такой же серой и скучной мне показалась площадь, на которую нас вывели.

Поделив на две группы, всех повели в разные стороны, одним работать в каменоломне, а других на осушку болот — работа тяжелая и, как сказал представитель туристической организации, требующая отдачи физических и внутренних сил.

Я же, попавший в первую группу и уже знавший, что меня ждет, молча шествовал по грязи, глядя в спину впереди идущему, коим был мой собеседник по бане, мой коллега по загранице, Иван Иванович: он шел, ни на кого не глядя, и по тому, как он взглянул на пролетающую мимо птицу, надо было думать, что настроение у него было неважное.

Каменоломня, или бутовый карьер, представляла собой огромный котлован по сторонам которого, а вернее, по верхнему его краю, взрывники бурили отверстия и, заложив в них взрывчатку, взрывали.

После взрыва известняк, упавший на дно котлована, нужно было расколоть и, погрузив на подхопившие машины, отправить на какие-то новые дела и стройки, где должна была продолжиться его будущая жизнь.

После этого надо было влезть наверх, на образовавшуюся после взрыва площадку, дабы, зачистив ее, снова предоставить поле деятельности взрывникам.

Дождь то начинался, то прекращался: под ногами была вода, и когда я поднимал очередной камень, чтобы положить его в кузов машины, вода текла по моим рукам и, намочив грудь, достигала живота — холодная вода середины октября.

Не скажу, чтобы я замерз или как-то там чувствовал холод. Как раз наоборот. Пар от меня валил как от распаренного козла. А от моего дыхания могла бы согреться чья-нибудь озябшая бедная душа.

После взрыва, взяв в руки лопату и лом, я лез «лопатить», то есть очищать от щебенки и пыли площадку,

что я делал не без старания, хотя и не спеша, ибо все время внушал себе, что, пока я не втянусь в работу, я не должен спешить.

Разумеется, владение лопатой и ломом требовало определенной сноровки, и, как я себя ни уговаривал, как я себя ни просил, я, за отсутствием оной, часа через два выдохся и поэтому только и думал, когда можно будет спуститься вниз, дабы хотя бы на малое время сесть на камень и отдохнуть.

Время от времени я поглядывал на нашего бригадира: он работал внизу; я видел его склоненную над камнем фигуру, его широко расставленные ноги; он быстро взмахивал кувалдой и не менее быстро ударял ею по камню.

Под его ударом известняк легко колослся, он это делал лучше остальных членов бригады, среди которых был и Иван Иванович, человек некогда занимавшийся проблемой прекрасного, а теперь, то и дело, поднимающий над головой кувалду и познающий тяжелый труд, где о прекрасном не могло быть и речи и где, если из тебя не выйдет пот через неделю и ты постепенно не превратишься в ишака, тебя ничего хорошего не ждет.

Должен сказать, что бригадир мне с самого начала не понравился. Это был огромный детина, при виде которого, даже и днем, можно было испугаться, уж не говоря о ночи: он был из породы тех людей, для которых ночь будто и создана, чтобы выходить на добычу.

Кроме того, как оказалось, он любил поиздеваться над слабым и даже с каким-то наслаждением поиздеваться, словно хотел этим сказать: «я, если надо, тебя могу и на тот свет отправить».

Несомненно, в условиях заграничной жизни подобное явление не является из ряда вон выходящим. Заграничные жители, как я узнал, любят властвовать и подчиняться.

Это, например, выражается и в той одежде, которую они носят и которая говорит о строгой иерархии, где порядок и подчинение проявляется как во внешней, так и во внутренней форме.

Я, например, заметил, что отношение нижестоящего в иерархической лестнице к вышестоящему было не столько почтительным, сколько беспрекословным. Оттенок отчужденности и строгого приказа вообще присущ заграничным жителям, хотя мне и не приходилось их видеть в кругу семьи.

Очевидно, и там сохранялась эта любовь к власти. Что же касается отношений туристов между собой, то эти отношения можно было проследить на примере нашей бригады, ибо они были, как бы тенью отброшенной от всего предмета заграничной жизни, от всего его иерархического здания.

Вообще бригадный способ с точки зрения психологии каждого члена бригады еще как следует не изучен, хотя и были попытки в данном направлении, но они так и остались попытками.

Участники бригады не рассказывают о тайнах способа подобных работ — на то они и участники. А если и найдется один, кто решится на это, то вряд ли кто ему поверит, ибо один в бригаде — это всего лишь один, а не весь, так сказать, называемый коллектив.

Мне же, еще дома, когда я работал в бригаде, подобный коллектив напоминал определенное стадо человеческих особей, где существует вожак, на которого взирают остальные члены данного единения, и взирают так, чтобы, услышав приказ, вовремя повиноваться ему, а вернее, носителю этого приказа. Разумеется, он во всех отношениях сильнее остальных членов этого единения. Вот отчего он может позволить себе иметь слабых, то есть «неумеющих ужиться», тех, кого обычно презирают остальные члены: брань и насмешка падает на подобных субъектов и что уж там говорить о их жалком положении; говорят, они сами достойны этого, ибо не могут ничем иным кормиться, как «этим своим трудом».

Надо ли говорить, что в условиях заграничной жизни многое зависит и от того, каков бригадир и как ты сам поведешь в первые дни пребывания за границей. Это время я бы назвал временем приспособления и притирания всех членов бригады друг к другу. Это выражается в постоянном наблюдении друг за другом: как ты ешь, как ты пьешь, вплоть до того, хранишь ты или не хранишь по ночам.

Все это может иметь непредсказуемые последствия для существования субъекта в данном единении. Я знал одного человека, коий так и «не пережил» подобного единения. Смерть — вот конец его и не только его подобной жизнедеятельности.

Вот отчего я, как уже поработавший дома, в бригаде, решил занять то среднее положение, когда ты ничем не выделяешься от остальных членов бригады, по крайней мере в работе. Я и не уклонялся от нее и в то же время умел «тянуть резину», и особенно в том случае, когда к этому призывал меня бригадир.

Стоит ли говорить, что на большее я претендовать не мог, ибо моя «непростота», я бы даже сказал, интеллигентность (а я это знал), приведет меня к тому, что мне придется адаптировать, стилизовать свою речь, что, разумеется, не будет замечено остальными членами бригады и что может привести к определенной отчужденности, свойственной различию сознаний. (Различие сознаний, мне думается, не есть свойство различия поведений — это скорее генетический код, заложенный в нас природой).

Отчуждения я не боялся, ибо доброжелательность и умение опустить глаза перед разъяренным зверем были выработаны мною еще дома, что, как мне кажется, присуще не только представителям человеческих особей, но и животным.

Ибо выказать покорность перед более сильным субъектом и не выказать страха, если это даже и грозит тебе смертью, есть несомненный принцип выживания. Что же касается желания убежать, то это можно проявлять лишь в тех случаях, если ты наверняка знаешь, что спасешься, или когда уже нет никакой возможности спастись: пасть льва кланула над твоей головой.

Все это можно проверить на примере заграничной жизни, где права туриста ограничены туристической организацией и где ты находишься на загражденной территории, откуда тебе, разумеется, не выйти, хотя бы и потому, что ты отличаешься от местных жителей одеждой.

Вот отчего твоя жизнь так зависит от твоего положения в бригаде и от того, способен ли ты быть тем винтиком в едином механизме огромной машины, который ни в коем случае не должен ломаться, ибо его просто выкинут и выкинут без всякой починки; существование подобных винтиков в условиях заграничной жизни всегда находит себе замену.

Вообще принцип: «незаменимых деталей нет» за границей является основным. Разумеется, это не касается и всей машины, ибо машина за границей никогда не выбрасывается, а обновленная новыми деталями снова пускается в ход.

Все это говорит о простоте конструкции и слабой производительности той или иной заграничной машины, хотя, надо сказать, эксплуатация ее обходится гораздо дешевле, чем у нас дома, или чем производство новой и более производительной машины.

Вот отчего ручной труд весьма дешев и гораздо выгоднее производительной машины, тем более, что доставка ее в те или иные условия заграничной жизни гораздо дороже обходится, чем доставка компактной, способной применяться к любым условиям, человеческой массы.

А кроме того, гибель одного, того или иного, туриста не имеет никакого значения. Как известно, ни одна страна не начнет войну с другой из-за одного погибшего человека по вине этой самой другой страны, будь он хоть министр или премьер-министр, хотя в истории человеческих отношений подобные примеры бывали и особенно в тех случаях, когда сильная сторона пользовалась, как причиной, напасть на слабую.

Тому примером знаменитый поэт и властитель Аллад Дин Хусайн, который отомстил за смерть своих братьев тем, что изгнал правителя Газны, перебив все мужское население города, сиречь семьдесят тысяч человек, чем, очевидно, и прославил себя на века. (Я уж не говорю о лампе Аллад Дина).

Обо всем этом я думал, когда, спустившись в котлован, долбил кувалдой известняк, который был мокр и плохо кололся, сминаясь и крошась, ни в коей мере не поддаваясь должному результату.

Я с нетерпением ждал услышать звук приближающейся машины, ибо это позволило бы мне на мгновение распрямить спину и, сделав вид, что ты занят тем, что смотришь на подъезжавшую машину, незаметно передохнуть. (Уловка применяемая самыми тертыми членами бригады).

— Ну что расселся! — вдруг я услышал голос бригадира и увидел моего собеседника по бане, «моего» Ивана Иваныча, который в позе обессиленного человека сидел на камне.

Было видно, что человек устал, и было видно, что человек решил немного передохнуть.

— Тебе говорят, вставай! — голос бригадира набирал силу, и я увидел, как он медленно двинулся к сидевшему. Очевидно, он решил его наказывать, и, очевидно, должным образом наказать.

Угроза, а вернее, тон угрозы мне показался агрессивным. Разумеется, я не шел на поводу жизни и не возлагал на себя груз добродетели: охранительная привычка, выработанная годами общения с теми, чьи души оставляют желать лучшего. Вот отчего я опустил голову и продолжал работать.

Ибо погибнуть, когда дерется чернь, встав на ту или иную сторону (нет уж извольте — пускай этим занимается тот, кто верит в необходимость драки), было для меня всегда делом постыдным. Я же, когда мне все-таки приходилось участвовать в подобных ситуациях, всегда вставал на сторону не сильного, а слабого, что, впрочем, не мешало мне с презрением относиться к тем и другим.

— Вставай! — услышал я опять этот голос, и увидел как один человек бьет другого.

Вслед за этим я услышал звук, который мне напоминал падение какой-нибудь мясной туши, какой-нибудь говяжьей спинки или ноги.

И еще я увидел, как над котлованом, поднявшись в небо, раскричались галки.

Хотелось спросить, глядя на них: «А что, собственно, им надобно? Что, собственно, они кричат? Уж не чувствуют ли они запах падали? Или какая иная причина заставила их подняться в воздух и закружиться на месте? Или это предчувствие надвигающегося взрыва?»

Трудно сказать. Одно я могу сказать, что вскоре все стихло.

Странная тишина наступила над котлованом, над всеми нашими головами, над всеми нашими беспутными душами.

Туристы, если вы попадаете за границу — бойтесь тишины! Тишина — это все! Тишина — это страшно! Тишина — это предчувствие бури — и какой бури?!

И поэтому лучше всего нарушить тишину. Лучше всего крикнуть или, подняв ногу, пустить воздух, лишь бы не было тишины, лишь бы она не слышалась.

Человек лежал вниз лицом. Человек сильно устал и поэтому лежал вниз лицом. Человеку было плохо и поэтому он лежал вниз лицом. Посочувствуем же человеку.

Бригадир пнул лежащего ногой и спокойно вернулся на место.

Я работал, не поднимая глаз. То, что испытывал я, можно назвать бы досадой, а может быть и другим словом: саднящее чувство стыда и чувство, что ты не способен что-либо изменить: ложь сильнее правды и открыто смеется над добродетелью.

Но что я мог поделать: сделать несколько жалких интеллигентских шагов и со слабым криком ударить, ожидая, что ответный удар будет сильнее?

Нет, уж извольте — пускай этим занимается кто-нибудь другой.

(Есть у меня дома такой приятель, если ему наступят на ногу, он в ответ тоже наступает, только сильнее наступает).

А кроме того я пропустил тот момент, когда я мог ударить; когда бригадир проходил мимо, и я мог его ударить...

... И вдруг мне стало все скучно. Все противно и скучно. Подобное состояние я испытывал, когда мне преподносили ту истину, что человек плох и ничего в этом изменить нельзя.

Откинув в сторону кувалду, я повернулся спиной к работавшим и сначала медленно, а потом и быстрее двинулся из котлована.

Я знал, что меня сейчас ударят: вот отчего я слегка нагнул голову и втянул в себя плечи, и вот отчего мне еще больше стало все противно и скучно.

И когда я, сбитый с ног, потерял сознание, когда мгновение остановилось, оно было самым прекрасным из всех мгновений, проведенных за границей. Тем более, по прошествии лет, они мне кажутся как долгий осенний день, пасмурный осенний день, который с нетерпением ждешь, когда он кончится.

Таковы мои некоторые впечатления о первом дне, проведенном за границей. Стоит ли говорить, что второй день был лучше первого.

Что касается эстетики, то я так и не одолел ее высокой премудрости. Ибо, когда я подумаю о ней, передо мной встает лицо сидящего на камне человека — не то мыслителя, не то раба, что, впрочем, иногда не имеет никакого значения.

ПОЭЗИЯ НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА

Сказать «экспрессионизм» — значит, ничего не сказать, а только вызвать в сознании множество имен и образов. Столь велика разница между ними, что какая-либо систематизация в рамках одного этого термина невозможна. В живописи экспрессионизм постоянно развивается с начала века вплоть до сегодняшнего дня. В поэзии (немецкоязычной) главными для него были 1910-е годы. Это десятилетие великий немецкий поэт Готфрид Бенн называет «экспрессионистическим», подразумевая, что экспрессионизм так или иначе сказался на всей немецкой литературе и изобразительном искусстве.

Можно сказать «немецкий экспрессионизм», и тогда он будет мыслим в живописи как реакция на французский импрессионизм, а в поэзии — как немецкое вариативное творческое продолжение Рембо. Это определение много точнее, ибо экспрессионизм как образ художественного мышления — чисто немецкое явление.

Но что такое экспрессионизм как течение? — спрашивает сам себя Г. Бенн, и отвечает: — Некоторые находят истоки его в стихотворении Рильке «Пантера». Другие указывают на интуитивизм Бергсона и феноменологию Гуссерля как на философские предпосылки и внутренние основания «конструктивного беспокойства» в Европе. Третьи говорят, что экспрессионизм создали Рембо и Уитмен, а затем он устремился к ритмам и пафосу барокко, к поэзии «Бури и Натиска», к поэтике Клопштока и Гельдерлина. Причем, правильно не связывать напрямую конец XVIII в. и начало XX, а говорить лишь о периодических, волновых колебаниях духа, стремящегося то к классической уравновешенности, то к беспокойной форме, экзальтированной выказывания, бунтарской «смещенности центра тяжести» и т. д.

Все это может быть близко к истине, говорит Г. Бенн, но отнюдь не раскрывает смысла экспрессионизма. Вышедшие из его лона сюрреализм и дадаизм только еще более все затемняют. Далее Г. Бенн сталкивает два понятия: «внутренняя жизнь» и «действительность»; последнее раскрывается им как демоническое для Европы. Действительность — это капиталистическое понятие, это — земельные участки и ссуды, продукция промышленности и кредиты, все то, что измеряется деньгами. У духа нет действительности. Он обращается к своей внутренней жизни, к своей биологии, к своему развитию, к столкновению физиологического и психологического, своей вселенной, своим маякам. Вопрос Канта, которым он много раньше подвел итоги для целой эпохи в философии: Возможно ли познание? — переносится теперь в область эстетики и звучит так: Возможно ли изображение? От Гете до Георге и Гофманстала немецкая литература имела целостное мироощущение. Новое поколение художников поместило бытие в реторту и стало конденсировать, фильтровать его, экспериментировать с ним, чтобы с помощью этих, экспрессионистических методов, свой дух — неразрешимое мучительное существование 10-х годов — возвысить до таких вершин формы, в которых художник, и он один, в час, когда рушатся империи, может сделать бессмертными свою эпоху и свой народ.

Поэзию экспрессионизма открывали художники. И не только в живописи. Но прежде всего вспомним: 1905 год — начало деятельности группы «Мост» в Дрездене, 1911 — «Голубой Всадник» в Мюнхене. Во главе последней — русский художник В. Кандинский, он же немецкий поэт. Писал стихи художник Пауль Клее, чье творчество, как и творчество Кандинского, конечно, не может быть замкнуто рамками какого-то одного направления. Тем интереснее

их поиски в поэзии. Вот, например, стихотворение Пауля Клее:

Последнее

В центре сердца
как единственная просьба
отзвучавшие шаги

фрагмент кошки:

Ее ухо зачерпывает звук
ее лапа берет разбег
ее взгляд
горит толсто и тонко
нет спасенья от ее лика
прекрасного как цветок
но вооруженного до зубов
и ничего за душой чтоб творить вместе с нами

Стихотворение не датировано и, возможно, время его создания не имеет ничего общего с «экспрессионистическим десятилетием». Но в нем важно другое. — Его метод: не образное отражение действительности, а создание новой действительности средствами искусства. Это-то и должно быть главной темой, когда мы говорим об искусстве модернизма, и об экспрессионизме, в частности.

Термин возник из желания противопоставить новые художественные устремления импрессионизму — краткому, мгновенному состоянию, впечатлению. Соответственно, эти новые устремления имеют целью вечное, сущностное, закономерное. Преодоление красотостей Югендштиля, красоты, которая расплывчата, неточна, также входило в задачи нового художественного умонстроения. Поэтому можно добавить: имеют целью кричащую правду, ужасную истину. Это — эстетика безобразного, но не безобразного. «Булавка точности, надежности» (Sicherheitsnadel) должна скрепить мир. Девиз экспрессионизма: изображать не падающий камень, а закон тяготения.

Страшное для германской нации и для всего человечества десятилетие заставило молодых художников, наиболее остро переживающих проблемы времени и цивилизации, заходящей в тупик, искать смысла во всем, доискиваться до сути любыми средствами. Крупные темы встают на первый план: жизнь во всей ее полноте с ее красотой и ужасом, смерть как продолжение движения, смерть, более живая, чем механистичная жизнь, чем механика повседневности. Отсюда — красочные, сочные пластичные картины разложения, гниения, гибели, упадка (Verfall). Экспрессионизм раздвигает границы бытия. Жизнь и смерть — это Вечный день, День Страшного Суда, происходящего сейчас и всегда. Философское «жеманничанье» с мистическими поисками Бога в себе самом, как у Рильке, отступает перед ужасом этой утопической идеи. Все происходит одновременно — и то, что было, и то, что будет — творится сейчас, на глазах у всех, единственно волей автора.

Искусство, в феноменологической концепции Гуссерля — средство «упорядочения» жизни по субъективному усмотрению художника. «Вчувствование» («Einfühlung»), привнесение чувств художника во внешний мир становится одним из перспективных направлений нового искусства. Другой путь — «Абстракция». Сильным импульсом для художников стала работа немецкого искусствоведа Воррингера «Einfühlung und Abstraktion» (1906 г.). Прекрасное в природе и прекрасное в искусстве не связаны между собой, если понимать природу как поверхность предметов. Поэтому искусство противопоставляется природе. Поэтому

в художественном творчестве доминирует субъективный фактор. Объекта восприятия в действительности не существует, он является всего лишь продуктом деятельности творца. Поэтому декларируется отказ от «изображения» в изобразительном искусстве. Деформация становится главным художественным приемом.

В художнике, по Воррингеру, «вчувствованию» противостоит «абстракция», в основе которой лежит чувство страха перед пространством и временем, охватившим человечество в древнейший период его истории. Чистые линии и простейшие геометрические фигуры — абсолютные абстракции, «успокоительное» средство для человечества. Искусство, как и на ранних ступенях развития человечества, должно связывать его с потусторонним, приводить в гармонию его отношения с космосом. Ибо мир рушится на глазах.

Как это часто бывает, полнее всего и ярче всех суть немецкого экспрессионизма в поэзии выразили те, кто стоял у порога нового движения и не знал ни термина, ни стремления непременно открыть что-то новое. От символизма Меттерлинка отталкивался Георг Тракл (1887—1914), творя ирреальный, переливающийся образами, как самоцветными камнями, мир тоски и одиночества, иллюзий и детства, свободы и смерти. Экспрессионизм в отличие от более поздних сюрреализма и дадаизма не делает ставку на под(сверх)сознательном и формальных трюках. В основе его остается мир узнающихся образов, но мир странный, мистический, искаженный. В этом всевластии мистики с особенной силой проявляется «сумрачный германский гений». Тракл завораживает волшебной интонацией стиха и редким даром пластичного, почти осязаемого слова, описывая в одном стихотворении печально красивое и гнетуще страшное. В основе его поэтики лежит живопись, поэтому велика частотность цветowych эпитетов. Но цвет уже не мыслится символом, а становится ирреальным образом душевного (духовного) переживания. Наиболее часто встречаются: черный, золотой, синий (голубой), белый, красный, серый, желтый, зеленый, пурпурный. «Вчувствованию» в предмет противостоит «абстракция» — все, что происходит в его стихах, происходит не с конкретными героями, даже, когда автор употребляет слово Я (Ich), не в конкретном месте, а с некоей отвлеченной душой (то есть со всеми (в некотором отвлеченном месте) то есть здесь, на Земле).

И для поэта Георга Гейма (1887—1912) характерна страшная лихорадочность в работе. Обоим выпало творить в буквальном смысле 2—3 года. Молодым человеком Гейм приехал в Берлин, чтобы стать юристом. Но как только он входил в зал суда, судя по его дневникам, как его охватывало чувство ничтожности, ненужности человека перед мощной машиной закона. Творчество Гейма — замечательный пример поднятого на небывалую доселе высоту субъективизма. Врагом номер один становится для него буржуазная пошлая мораль, филистерство. Он хотел отомстить «убийцам его юности» и был столь прямодушен и бескомпромиссен в достижении этой цели, что Гете, Рильке и Георге считал конформистами и насмехался над ними. В 1906 г. 19-летний Гейм записывает: «Я должен стать трижды эгоистом, я должен им быть... ибо мир во мне во 100 раз ценнее, чем во всех других. Ведь они же ничего не создают. Но я должен творить». Это неистовство созидания, пожалуй, главное, что возвышает его над современниками-экспрессионистами. То, что отличает его от предшествующих поэтов, он определяет сам: «Что отделяет меня от Ницше, Клейста, Габбе, Гельдерлина? То, что я много, много более живой. В хорошем и в плохом смысле».

Гейм пишет стихи-видения. Это видения Войны, видения Ночи, видения Осени как заката жизни. Через все его творчество проходит тема облаков. Он сравнивает их то с призраками, мертвецами, то с несуществующими городами. «Нужно бы ничего не делать, а только наблюдать за облаками все время, за далекими таинственными облаками, прекраснейшими, которые бесконечной пе-

чалью...» (запись в дневнике обрывается). От Рембо, наследником которого он считал себя, ему достается в наследство видение Офелии, видение чистоты жизни, гибнувшей и уплывающей мимо жизни. Ностальгическая тема его стихов — проклятье жить при Вечном дне, которое превращается в страшную идиллию каждого, самого большого стихотворения. И объединяющий всех немецких экспрессионистов ужас перед наступлением века техники, почти мистический страх перед ней, душный Берлин, любимый и ненавидимый, с линейками, автомобилями, омнибусами, буксирами, баржами и поездами, и образы нищих и калек, и безумные карусели — все это делает его поэзию пророческой.

Есть у Гейма также стихотворения тоскливого осознания краткости, мимолетности этой одновременно ужасной и прекрасной жизни. Обладая огромной жадой жизни и творчества, он ужасается тому, что ничего не происходит вокруг него. Образ Революции привлекает его в качестве силы, двигающей жизнь. Особенно он увлекается французской революцией 1848 г. и русскими революционерами. Мечтает жить во времена Наполеона или Перикла. Война, которой и не пахло в Германии в мирном 1911 году, мерещится ему как разрушительная и очистительная сила, катарсис бытия. Его мятущейся душе нужно, чтобы хоть что-нибудь произошло, чтобы убили кайзера, или русского царя, например. Ему одновременно хочется быть террористом и прусским офицером, но лучше всего он чувствовал бы себя, если бы сам был кайзером. Об этом говорят его дневники. Самый последний из них, начатый в августе 1911 года, открывается словами: «Георг Гейм. Который не знает пути». Серое однообразие, однозвучность, замедленность — все время натывается на такие слова в дневниках и стихах Гейма, но это ни в коей мере не приметы времени, а характеристика его собственного состояния.

Творчество Ван Гога вдохновляет его. И здесь мы видим, как сильно экспрессионизм в поэзии связан с живописью. «Легко иметь фантазию. Но как трудно претворить ее в образы», — пишет Гейм. Его не интересует строфическая сторона поэтического творчества. Подавляющее большинство его стихотворений написано монотонным пятистопным ямбом. Но монотонности стиха, звучащей как заклинание, наговор, соответствуют остро очерченные контуры образов. О том, насколько ему это удастся, свидетельствует, например, тот факт, что по мотивам стихотворения «*Umbra Vitae*» Эрнст Людвиг Кирхнер создал ни много ни мало 46 гравюр на дереве.

Гейм остался великим одиночкой в поэзии. Как сказал Готфрид Бенн об искусстве модернизма в целом: «Есть только одиночки и их образы». Его первый прижизненный сборник назывался «Вечный День» (первоначальное название «Облака») как странное переосмысление христианского понятия Вечная Смерть. Георг Гейм не потому стал одним из первых поэтов XX века, что стремился открыть что-то новое в поэзии, а потому, что поэтически предварил то главное, о чем учила помнить философия экзистенциализма: бытие — это существование смерти и вечный страх перед ней.

Тракл и Гейм — наиболее яркие фигуры раннего немецкого экспрессионизма в поэзии. Невозможно представить себе поэзию XX века без их творчества. Разумеется, тема ими не исчерпывается, она может быть только правильно поставлена. Дело в том, что экспрессионизм как мироощущение никогда не прекращал своего существования. В разные исторические эпохи он по-разному воплощался и был по-разному назван. Жив он и в наше время. Ценность его определяется его смелой решимостью взглянуть в глаза правде, которая часто скрывается во многих «идеальных» произведениях. Без экспрессионистических приемов не обходится ни одно искусство. Поэтому так важно для истории искусства «экспрессионистическое десятилетие», к которому поэты не раз еще вернутся заинтересованным взглядом.

ГЕОРГ ТРАКЛЬ

ПСАЛОМ

Тихо; как если б слепые упали у желтой стены,
Висками увядшими чувствуя воронов крылья.
Золотое молчание осени, Отчий невидимый лик в
мелькающем солнце.
Под вечер в коричневых кронах темных дубов тонет
старинный поселок,
В кузнице — красный стук, шумно бегущее сердце.
Тихо; замедленным жестом гиацинтовый лоб закрывает
служанка
В жарких подсолнухах. Страх молчаливый
Слабеющих глаз заполняет углы, опасливый шаг
Немощной женщины, складка пурпурного рта долго не
гаснет во тьме.

Тихие сумерки тонут в вине. С низкого потолка
Падает бабочка, нимфа, умершая в сне голубом.
Батрак во дворе забывает ягненка. Сладкий запах крови
Лбы обволок нам, темный холод колодца.
Соболезнуя гибнущим астрам, летят голоса золотые.
Когда будет ночь, ты станешь смотреть на меня из
полуистлевших глазниц,
В голубой тишине превратилось лицо твое в пыль.
Так тихо сорняк занявшийся гаснет, каменеет черная
деревушка,
Как если б с синеющей Голгофы скатился крест,
Как если б Земля в немоте выкинула мертвецов.

НА ВОСТОКЕ

Органному вою зимнего вихря
подобна мрачность народа,
битвы пурпуровый вал —
звезде, потерявшей листву.

Ночь — серебристые руки, разбитые брови —
кивает убитым в бою.
В тени осеннего ясеня
стенают призраки павших.

Колючие заросли оцепили город.
С кровавых ступеней стоняет луна
испуганных женщин.
Бросились волки в ворота.

Переводы АЛЕКСЕЯ ПРОКОПЬЕВА

ОСЕНЬ

Под благовест вечерний в небе синем
Я вижу — караваны птиц счастливых
Толпой паломников благочестивых
Уносятся к неведомым святыням.

Когда же ночь замкнется над садами,
Приснится исчезающая стая,
И мнится — стынет стрелка часовая,
И я напрасно мчусь за облаками.

И гибельный охватывает трепет,
И птица в листьях виноцветных стонет,
Листва узоры за оградой лепит.

Как в пляске смерти тихий голос тонет,
У темного колодца — детский лепет,
То зябнущие астры ветер клонит.

КРЕСТЬЯНЕ

Зеленое, красное — шумный креп.
Под низким от копоти потолком
Крестьяне обедают, сев рядком,
Наливают вино и ломают хлеб.

В глубоком молчании нет да нет
Корявое слово слетит с языка.
Мерцают поля в нем и облака,
Далекий свинцовый свет.

Огнем как гримасой очаг свело,
И воздух звенит от мух.
Батрачек немых настрожен слух,
Виски стучат тяжело.

Встречаются алчные взгляды греха,
Коль духом звериным повеет мрак.
Молитву, потупись, бубнит батрак,
А за дверью — крик петуха.

И — снова в поле, где злак тугой
Колосится, внушая страх.
И косы взлетают в один мах,
Чтоб дружно упасть в другой.

ШЕСТВИЕ ЗИМЫ В ТОНАЛЬНОСТИ ЛЯ-МИНОР

Багровый шар из веток выплыл снова.
Шел мягкий снег и черный встал сугроб.
Крестом священник осеняет гроб.
Ночь в маскарады вылиться готова.

И как тряпье вороны над деревней.
Чудесной сказкой мир глядит из книг.
Волосьями в окно трясет старик.
В больной душе гуляет демон древний.

Замерз колодец. Старых шахт утроба
Гудит от ветра, лестницы во мгле
Ветшают, рушатся, лежат в земле.
Мороз как пряность ощущает небо.

УЖАС

Я в комнату забытую входил,
Плясали звезды бешено во мраке,
На синем фоне лаяли собаки,
И раны сосен ветер бередил.

Тупым покоем сковывают вновь
Уста мои отравленные маки,
Роса, мерцающая, подает мне знаки
И падает, и падает, как кровь.

Из зеркала спустился сумрак серый
И, медленно пронизывая сферы,
Лик Каина плывет ко мне в окне.

Я слышу — шелком шелестят портьеры,
Льет свет луна — и пустота без меры,
Убийца мой со мной наедине.

Переводы Б. СКУРАТОВА

ГЕОРГ ГЕЙМ

ОФЕЛИЯ

I

Гнездо крысят болотных в волосах,
И руки в кольцах, словно плавники,
Качаются; она плывет в лесах,
В дремучих зарослях на дне реки.

Закатный луч сквозь спутанную тьму
Спускается на дно ее души.
Зачем она мертва? И почему
Так одинока в девственной тиши?

Мышей летучих в дебрях камышей
Встревожил ветер влажною рукой.
И мокрокрылый темный рой мышей,
Как дым, повис над черною рекой,

Как туча ночью. Белый угрь скользнет
На грудь ее. Червями голубыми
Сверкает лоб. И слезы листьев льет
Ветла над муками ее немymi.

II

Хлеба. Посевы. Полдня красный пот.
В полях уснули ветры. Тишина.
Как лебедь засыпающий, она,
Расправив крылья белые, плывёт.

Синеют веки. Сомкнуты уста.
Под звон косы, под шелест тихих струй
Ей грезится карбункул-поцелуй —
В могиле вечной вечная мечта.

И мимо, мимо вспученных холмов,
Где грохот городов, где запружён
Плотиною поток. Лишь легкий звон
Доносится, как эхо, с берегов,

Где визг машин, борьба, толпа, дурман,
Где вечером взбухает красный мрак
В ослепших окнах, где занес кулак
Гиганторукий бог — подъёмный кран,

Тиран, железный Молох с черным лбом,
Над сонмом черных, павших ниц рабов.
Где, скорчившись в цепях стальных мостов,
Ползет поток с натруженным горбом.

Невидимой несет ее река.
Но крылья горя черного над ней,
Как стада, гонят скопища людей,
Отбрасывая тень на берега.

И мимо, мимо. Мраку на алтарь
Приносит запад свой высокий день.
В лугах усталости вечерней тень
Стоит, как притомившийся косарь.

Поток её уносит в глубине
Сквозь холод зим, сквозь траурную ночь,
Сквозь времена, сквозь вечность, дальше, прочь
От горизонта в пляшущем огне.

БЕРЛИН I

В пыли был край шоссе, где примоститься
Нам удалось. В растерянности, в шоке
Мы видели: спешат людей потоки.
В заре вечерней высится столица.

С бумажными флажками на флагштоке
сквозь сутолоку толп линейка мчится.
Набитый омнибус и вереница
авто, колясок, дым, клаксон жестокий.

Все — к каменному морю. Но в упор
Нагие кроны высветил закат,
Как будто знаков водяных узор.

Огромный шар свисает с эстакад.
И запад красные лучи простер.
Как странный сон, они на лбах горят.

БЕРЛИН III

У стрелки слышен свист локомотива.
Один лишь звук, что достигает слуха.
Три скрипки с жидкими смычками глухо
У старых стен рыдают без мотива.

Слепы и нищи музыканты эти.
Насквозь промокли под дождем накидки.
Ища дорогу, зонт стучит по плитке.
Вокруг стоят, на них глаза, дети.

Тогда же в форточку полуподвала
Старик смотрел, как надвигались тучи
И мгла на сером небе бушевала.

Локомотив загрохотал. Тягучий
Рев ввергнул нас в сумятицу вокзала,
Во мрак столицы, в шум толпы кипучей.

АННА-МАРИЯ

Блеск вечерний на воду ложится,
В раковину дует бог морской —
И в волнах пурпурных белой птицей,
Торопящейся к гнезду с тоской,

Эти губы вновь мелькают — звуки
Арфы, шлющей королю мольбу;
Эти губы, что прекрасней в муке,
Как прекрасней лилии в гробу,

Дай мне снова. В поцелуях наших
Оживем. Судьбою стала страсть.
Листья с тополей спешат шумящих
В твой подол, как пьяные, упасть.

Никого. Мечта лишь, сон. При свете
Счастья нам дано прожить лишь миг.
Гаснет все, круги темнеют эти,
Где, как птица, ночь испустит крик.

Осень ранняя. Белесый посох
Подняла зима, кружась вдали,
Там, где прядей золотоволосых
Пятна в зыбь молчащую легли.

Видишь, тень как парус побежала.
Приходи. Мы ждать не будем зим.
Поцелуев красные кинжалы
Смертью медленной в сердца вонзим.

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН

ЛЕНИН — СТАЛИН

Когда-то они были неразлучны — на плакатах и фотографиях, в учебниках и в сознании народа. Потом остался только Ленин, а Сталин выбыл в неизвестном направлении, на неизвестный срок: ждать не приказали, но и надежды не отняли. И вот он возвращается...

Другой, да, другой Сталин. Но время ничуть его не старило, наоборот, омолодило. Он меньше Иосиф Виссарионович — и больше Коба или Сосо, как его называли друзья юности и товарищи по подполью. Он уже не всеобщий отец, вождь всех времен и народов, старший друг пионеров и физкультурников, умудренный и всезнающий дедушка Сталин — нет, но молодой авантюрист и демонический злодей, у которого неистощимый пыл и южный темперамент на совращение целомудренных народов. Коварный, неотразимый, цинический, освобожденный от всяких нравственных норм, как либертины у маркиза де Сада, любитель острых ощущений и знаток неопытных сердец, одной усмешкой сквозь жесткие усы сводящий с ума: вечно юный Сталин, политический оболстатель и насильник. Нет, не проститутка, как Троцкий, а мужественный бронет, который брезгает посещать публичные дома и водиться с продажными девками, — зато всегда непрочь поживиться девами из приличных семейств. И потому надо бить тревогу среди мирных развивающихся народов, этих чистых девочек в красных шапочках, что в их доме может появиться хитрый волк и, прикинувшись нравоучительной бабушкой, закласть свою жертву в постель. Красные шапочки ему особенно нравятся: этот цвет возбуждает всех циников и демагогов, а вот белый или синий им скучен и пресен, такие народы могут не опасаться за свою добродетель. Древнее предостережение: красна девица, словно маков цвет, не ходи, милая, за околицу, по чисту полю молодец идет, молодец идет, маков цвет сомнет.

Раньше говорилось: Сталин — это Ленин сегодня. Но зачем делу социализма сразу два Ленина: вчерашний и сегодняшней? Любая система со временем стремится избавиться от дублирующих друг друга элементов, как язык избавляется от полных синонимов. Идеология — тот же язык, только социальный; он имеет свои синонимы, антонимы, омонимы, отношение между которыми меняется быстрее, чем в национальном языке. Например, слова «социализм» и «демократия» долгое время звучали для нас как синонимы, а «коммунизм» и «фашизм» — как антонимы. Синонимами были имена: Сталин и Ленин, антонимами: Сталин и Гитлер. Бывают и идеологические омонимы, т. е. слова, звучащие одинаково, а по смыслу не имеющие между собой ничего общего. Например, «диктатура пролетариата» и «фашистская диктатура» — вряд ли кто-нибудь услышит здесь одно и то же слово, разве что у него невоспитанный политический слух. Или: «наш народ мечтал о свободе» и «радиостанция «Свобода» клеветает на наш народ». «Диктатура» и «диктатура», «свобода» и «свобода» — это просто разные слова, как «коса» на голове у девушки и «коса» в руках у Смерти, как горный «ключ», забивший из расщелины, и гаечный «ключ», которым избили прохожего.

Бывает и наоборот: разные слова настолько сближаются по значению, что их можно писать через дефис, как одно двоящее слово, например, «фабрики-заводы», «рабочие-крестьяне», «грибы-ягоды», «фрукты-овощи», «Пушкин-Лермонтов», «Тютчев-Фет», «Ахматова-Цветаева». Разумеется, образованный человек знает разницу между Пушкиным и Лермонтовым, но в массовом сознании они вместе держатся на слуху, как один великий поэт, сосланный в Михайловское, сражавшийся на Кавказе и смолоду убитый на дуэли Дантесом-Мартыновым. Идеологическое сознание тоже любит такие дуплеты: Маркс-Энгельс, Ленин-Сталин. Нужно поставить именно две точки, чтобы между ними сразу прочертилась генеральная линия исторического развития, на письме изображаемая знаком тире. От одной точки не будет линии, а между тремя она может искривиться, дать зигзаг, поэтому попарно имена звучат всего сильнее и убедительнее. Слово бы разносится между ними: от скалы к скале — горькое эхо, усиливая звучание каждого. Размах, простор. Между вдохом: Маркс — и выдохом: Энгельс — чувствуется как бы дыхание самой истории, набравшей побольше воздуха в грудную клетку. Что там только не звучит, в этой многозначительной паузе! Какую великую работу проделывает история в полном молчании! Маркс... — ... Энгельс, Ленин... — ... Сталин. Ну и поменьше, помельче, однако тоже с намеком, подтекстом, внутренним резонансом: Ворошилов — Буденный, Дзержинский — Фрунзе, Куйбышев — Орджоникидзе, Горький — Маяковский...

И вот с какого-то момента главная гулкость пропала. Даже мне, всего шесть лет от рождения прожившего с двойным именем Ленин-Сталин на слуху, — даже мне с 1956 года уже недостает этой смысловой растяжки, мощного звукового раската. В коротком слове «Ленин» мне слышится какой-то сбой, недосказанность, будто что-то толкнулось — и замерло, подавшись собственной немотой. После «Ленина» само направляется тире, как знак исторического разгона, траектория великого броска в будущее — а сил не хватило, тире сломалось на точке. Прыгун разбежался — а прыгать не стал, потоптался на месте и скрылся в раздевалке к недоумению публики, приготовившей ладоши для хлопков. Нет, не хватает красивого, парящего перелета через эпохи, времена, стадии роста, ступени прогресса: Ленин — (летим, летим!) — Сталин.

И долго, целых тридцать лет, длилась эта томительная пауза, словно ком застрял в горле: вдох сделан, а выдохнуть не дают. И уже не дышится во все легкие, а пускается во все тяжкие, как в 70-е годы. У народа, преодолевающего высокие исторические ступени одну за другой, появилась одышка, и стало за него тревожно: дойдет ли? Осилит ли?

Теперь тревога проходит. Прорезалось второе дыхание: Сталин снова с нами. Он вернулся в свое законное общее имя: Ленин-Сталин.

Да, вернулся другим, хищным и жутким, но такой Сталин нам еще нужнее, чем тот многогрудый вождь, каким он был при жизни. Многогрудого вождя, всезнающего учителя



ля, бессмертного гения, заботливого отца наш народ приобрел еще до Сталина, в годы тяжелых октябрьских родин, отныне и навсегда, а вот достойного врага ему не доставало. Их было слишком много, врагов, и все, как оказалось, ненастоящие, потому что настоящих много не бывает. Даже отсталая религиозная традиция хорошо это знает и когда произносит слово «враг», то обязательно в единственном числе, чтобы понятно было, кто подразумевается. Враг и есть враг — Сатана, что буквально и значит «противник». И если говорят: «враг попутал», то ясно, что это не какой-то там один из многих отщепенцев и злопыхателей, а такой же единственный и общий всем людям Враг, как и Бог — один. Произнесите: «враги» — и сразу слово измельчает, из религиозного языка перейдет в какую-то политическую трескотню, в газетный или партизанский жаргон. «Враги сожгли родную хату», «надо их всех перестрелять, врагов народа» . . . Сам язык дешевет, размениваясь на множественное число. А «Враг» — слово дорогое. И если бог и учитель у нас один, что соответствует священной традиции, то и враг должен быть один. «Враги» — это низкий уровень обиходности, мелочь тактики и стратегии.

И теперь понятно, почему он, Враг с большой буквы, стал науськивать нас на поиск врагов. Это и было его главным Вражьим делом: насочинять миллионы шпионов и вредителей, чтобы самому затаиться в их сплошной серой массе. «Сколько их! куда их гонят? что так жалобно поют?» — ну конечно, это все мнимые враги народа, отправляемые на очередной этап сквозь пургу и метель. «Бесконечны, безобразны в мутной месяца игре . . .» А кто их гонит — тот самый Враг и есть, и он их нарочно выдумал и выдал за врагов, чтобы себя спрятать. Вон их сколько! —

и каждого надо найти, опознать, доказать, связать, обезвредить, да еще и к самому себе прислушаться — нет ли и там, в своем сердце и разуме, чего-то вражеского, чтобы сдать и донести . . .

И вот за всеми этими врагами, с их жалобным визгом и воем, блужданием в потемках и в метели, нам конечно, было не доискаться до Врага, который всю эту вьюгу в глаза напустил и рассыпался тьмою мелких бесов, чтобы мы его не поймали. И какие там бесы, если всмотреться! — там сучок серенький, там искорка малая, там листик сухой. Мчались мы на вихрях-конях по своей великой равнине, а он навстречу нам выдул стужу-метель и так засорил глаза, что в самых невинных сучках-задоринках нам примерещились бесы-вредители — чтобы его, Проклятого, не увидеть, Вражину эту лютую. «Только вьюга долгим смехом заливается в снегах» — в ответ на все наши «трах-тах-тах!». Сколько врагов перестреляли — а главный и единственный ушел невредимым, и остался в ушах только глумливый смех этой поднятой им вьюги.

Но теперь мы разобрались, что к чему и кто кого, — во врагов больше не верим, потому что ясно видим перед собой одного Врага, и чтобы расхлебать наваренную им тюремную баланду нам годов и эпох не хватит, поскольку другой похлебки у нас еще варить не научились, да и желудки твердокаменные. Наша вера теперь гораздо глубже, потому что из-за множества подставных врагов встал, наконец, во весь рост, как будто для высшей меры наказания, один, настоящий. Он-то и помешал нам вкусить давно обещанный рай.

Ведь это же нелепо, чтобы Еву соблазнила целая стая юрких змеек, — нет, он должен быть один, виновник грехо-

падения, из-за которого первозданный рай был утерян, а предсказанный так и не построен. Отрицательный персонаж Книги Бытия стал положительным героем Краткого Курса, но ведь это развитие по ходу истории одного характера — Змея-Искусителя, который издавна имел привычку обитать в раю. И ведь человечество уже шагало туда на зов всемудрого, всезнающего, владеющего миром и предавшегося священному покою лишь в последний день (отчего и зовут его по-божески — Влади-мир Лен-ин: ибо сотворив в шесть дней мир, на седьмой опочил). Шагнуло под пышную крону древа жизни, с которого свисали сочные плоды нэпа и кооперации, но рядом росло другое, из-за которого и выполз искуситель и прелестил более румяными, да горькими плодами индустриализации-коллективизации. Оттуда и пошел раскол на добро и зло, на свет и тень, на Основной Закон и нарушения законности, на пионерские лагеря и концентрационные лагеря, на перелеты через Ледовитый океан и обживание его суровых берегов. Был один только рай и цельное древо жизни, а от Лукавого началась излучина и все раздвоилось на добро и зло.

Конечно, обличая Врага и все то зло, которое он учинил, не надо забывать, что и много добра мы познали с того самого древа. И хотя Змей клеветал на бога, мы не должны клеветать на эпоху Змея, а призваны тщательно отделять доброе от злого, потому что таково двойное свойство самого дерева; и не мазать все черной краской, а мраком оттенять свет. Главное же: познав ужас грехопадения, вернуться к первому завету, который бог со своим любимым детищем заключил под названием «Последняя стадия и Очередные задачи». И ведь было нам внятное предупреждение о враге, что он слишком груб и его следовало бы осторожно переместить с чересчур высокой кроны — мы сами виноваты, что польстились на лживые ласки и плотоядный блеск мудрых очей.

Но теперь, наконец, Враг опознан и назван. И значит, рай непременно будет очищен от скверных. Раньше-то считалось, что мы живем уже почти в раю, а выглядел он как-то неуютно и больше походил на каменистую пустыню. И хлеб приходилось в поте лица своего добывать, и земля рождала тернии и волчцы вместо обещанных сладких плодов, и женщины мучались, надевая вместо воздушных кружев «одежды кожаные». И если это называть раем, тогда непонятно, каким может быть не-рай, неужели еще хуже? а впрочем, спасибо, что нас туда не пускают. Если мы здесь надрываемся и голодаем, на каменистой почве, то там, среди каменных джунглей, мы бы вовсе погибли. Наверно, рай все-таки здесь, но только в завете про него было иначе написано: сочные плоды, рог изобилия — а получили волчцы, будто сами мы волки, и век бросается нам на плечи. Неужели бог нас обманул, обещанного ни за три, ни за тридцать три года так и не выполнил? И вот уже умирают дети тех, которым был обещан рай, от недостатка даже тех же волчцов. Поколебалась и наша вера, и божья слеза скатилась с небес... неужели конец?

И вот — спасен, спасен. Как же его не спасти, нашего бога, если только он и может дать нам спасение. Мы его сейчас, а он нас потом. Все давно уже было предсказано, хотя и в суеверной книге: не бог виноват, а Враг попутал. И завет не исполнился, потому что мы сами его нарушили, съели не с того дерева, хотя прекрасная жизнь с дарами сельхозпотребкооперации стояла рядом, — но Враг преподнес нам другие, чтобы мы в райском саду сами стали как боги, познавшие добро и зло. И вот, едва вкусив от этих кровью налитых румяных плодов, как и было предсказано: «в тот же день — смертью умрете» — стали умирать один за другим, не отходя от развесистого древа. И треть народа умерла, а остальная часть оказалась в пустыне...

Зато Враг, хитростью лишивший нас рая, теперь сам должен его вернуть. Ведь если бы не его спасительная ложь, то пришлось бы признать бога не богом, и рай не раем, и завет обманом, а коль скоро Враг объявился, значит, все прежнее остается на своих местах. Это мы, грешные, не того послушались, не в ту сторону зашли — в пустыне

заблудились и почти пропали. Но рай нас ждет и бог нам простит, если во всем покаемся и вернемся к его заветам, если отступимся от Отступника, воспротивимся Противнику и обличим его мерзкую лукавую природу в самих себе.

Вот он каким возвращается к нам, Сталин. Для нашего главного дела он теперь еще нужнее, чем при жизни. Стала величайшим коммунистом-организатором — ну, не смерть его, так посмертная судьба. Был при жизни богом — но бога и без него хватает, и первый уже умер, а второму не бывать. Не хватало — Врага: он-то нам и ответит, почему бог прав, а мы ошиблись, почему рай нас ждет, а мы в нем не живем. Такой Сталин нам гораздо нужнее, чем гений всех времен и народов, потому что возвращает нам отнятый рай, точнее, надежду рая, — злодей исполнит то, чего не исполнил гений. Гений надежду убил, зато злодей ее возвращает.

Змей-искуситель переживает теперь второй акт исторической мистерии — в роли козла отпущения. Был такой обычай у народа, верившего в свое избранничество перед Богом, — раз в год возлагать на козла всенародный грех и изгонять в пустыню. Тот грех, который отторг людей от рая, теперь сам отторгается от них и символически удаляется в то место, куда их завел Козел в этих ритуальных представлениях — столь же низменное животное, как и змей, — оба олицетворяют нечистую силу, отчего и изображается она часто с козлиными рогами и в змеиной чешуе; но если змей воплощает хитроумие и жестокость, то козел — похоть и тупость. Так сошлись эти два животных в нашем представлении о Враге: он тупой, ограниченный человек, но хитрый на гадости, пылкий на мерзости, злобно-лукавый и похотливый (эта роль специально похотливого придатка, как бы полового органа хозяина, отпущена Берии, который и стал первым козлом отпущения во всем этом многоступенчатом ритуале посмертной расправы со Сталиным).

Про Бухарина, одного из очередных врагов, было «свыше» сказано на судебном процессе, что он помесь свиньи и лисицы. Опять-таки узнается мелочевка, пошлая политическая грязь — потому что в тех возвышенных обрядовых ролях, которые передаются сегодня Врагу народа, он знаменует единство гораздо более древних и емких символов: козла и змея. Значения вроде те же — низменность (свинья, козел) и лукавство (лисица, змея). Но если свинья и лисица — персонажи какой-нибудь басни, детской сказочки, в духе которой для простодушной публики разыгрывались фольклорные процессы 30-х годов, то змея и козел — персонажи мистериальные, библейские, до которых ныне возросло наше сознание пережитой трагедии.

Два обличья нечистой силы: первое — когда она искушает добром; второе — когда обличается во зле. Тот, кто в образе змея завлек нас из рая в пустыню, теперь, в образе козла, сам изгоняется в пустыню, чтобы сохранить нам надежду на рай. Именно сейчас, когда Сталин во всенародном сознании превратился в змея-искусителя, он фактически играет для избранного народа роль козла отпущения, и тут нет никакого противоречия, потому что эти две роли предназначены для одного актера, как две личины великого лицедея.

И теперь мы уже не в коммунальных дворах забываем козла, крепко пристукивая его костяшками домино, а забываем на всенародной площади, чтобы он костыми лег в той проклятой мертвой пустыне, куда нас заманил; и выносим его кости из нижней части райка, с высоты которого созерцают народной жизни его наследники, — выносим кости из частицы рая и выбрасываем к стене плача, чтобы ветер истории развеял его прах. Мы забываем козла всенародно, и не условными точками-гвоздиками костяшек, а пригвождаем его к столбу позора побелевшими костями его собственных жертв.

Но как ни праведен этот гнев, он не колеблет, а укрепляет нашу главную веру, и имя бога еще ослепительнее сияет, отмытое от имени греха, от имени навета.

И ведь какое имя он взял себе — не просто красивое, а словно бы выдуманное мальчиком-семинаристом по обра-

зу того, кто воображался ему первым учителем всех мятежников: с железными когтями, со стальными зубами, в соответствии с точными предсказаниями Священного Писания, — старого, конечно, которое, предстояло еще переписать, чтобы поменьше было шерсти и побольше стали. Ушел из семинарии — но может быть потому, что главному уже научили, и пошел разносить слово своего бога, проповедовать свое евангелие, вычитанное из тех же самых строк, — стальной меч, исходящий из уст божьих, кару и пагубу, ниспосланную на народы. Быть может поразили воображение семинариста такие слова: «железное ярмо возложу на шею всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому . . .» (Иер., 28, 14). А может быть, понравились ему слова из Апокалипсиса: «тому дам власть над язычниками, и будет пасти их железом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся» (откр., 2, 26—27). Образ железа следовал за ним неотступно и сам подсказал имя, под которым пасти народы, впавшие в язычество, — Сталин.

У Герцена как-то довелось прочитать в «Былом и думах»: «Моровая полоса, идущая от 1825 до 1855 года, скоро совсем задвинется; человеческие слезы, заметенные полицией, пропадут, и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли . . .» Что больше всего здесь поразило — с какой легкостью, почти незаметно, можно переправить цифры веков: 1825—1855 на 1925—1955 — и ничего не изменится по существу, словно характеристика заготовлена сразу на две эпохи: николаевскую и сталинскую. Такова меткость слова: одним выстрелом разит наповал сразу две отдаленные цели. Но стоит внимательней сопоставить нашего Противника с его слабым соратником по предыдущему веку, отхватившим себе точно такой же дымящийся тридцатилетний кусок в судьбе своего народа, — и снова поразишься уже несопоставимости: так меняются масштабы и материалы, из которых создавался этот жезл, пасущий народы. Там — пять повешенных за вооруженное выступление и убийство, здесь — в миллионы раз больше погубленных за . . . просто ни за что. Но зато и прозван был тот царь всего только Палкиным: вот от каких детских наказаний им было больно, кожа еще не задубела даже под началом генерала Дубельта, и жезл оставался только деревянным.

Если же задуматься, как назвать нашего прекрасного Иосифа, чтобы вышло соответствие святому Николаю — если тот Палкин, то этот кто? — вдруг и видишь, что он, не дождавшись памфлетов Льва Николаевича Толстого и пренебрегая панегириками другого Николаевича Толстого, отнюдь не Льва, — сам себя лучше и точнее всех назвал: Иосиф Сталин. Одна эпоха относится к другой, как железный посох к деревянному, как «Сталин» к «Палкину». Но именно Сталин, не Железин — это пусть матрос-братишка по югу гуляет и под курганом вечно спит, взятый от древней металлической простоты, а, как подобает не братишке, а старшему брату и уже начинающему отцу — Сталин, от сплава несравненно более твердого и современного.

Теперь-то мы знаем, в какой домне-мартене выплавлялась эта сталь, по созвучию слов — случайному ли? — воспетая множеством стальных соловьев той эпохи. «Как закалялась сталь» — этому, конечно, по высшему счету мог научить только сам Сталин; в его имени, в его образе — ответ на все вопросы, поставленные этой и множеством подобных книг. И выплавлялась эта сталь в домне, которая раскалялась пожарче магнитогорских и истари называлась пеклом, дабы оттуда в достойном вооружении и стальных доспехах выходили неуязвимые, броней покрытые, нездешним пламенем опаленные воины — посланцы настоящего Врага, закаленные им в огненной купели, этом вечном прообразе Магнитки. Сталин строил печи, чтобы выковырять свою стальную рать, чтобы она разливалась и затвердевала по всем ячейкам общества, превращенного в огромный, слаженно гудящий сталелитейный цех. Он сам был богом Стали, богом домен и мартенов, хозяином всех огневых точек страны, знакомых ему изнутри, по тому

жару и накалу, в котором испокон веков пребывала и останется пребывать его душа.

Как узнается в плане индустриализации, во всем этом размахе сталеплавильного дела, в расцвете черной металлургии — сталинский дух, дух несгибаемой стали! Не случайно вернейший из речетворцев задумывал, как свою лебединую песню и реквием, — «Черную металлургию», очередной том из эпопеи «Как закалялась сталь», в которую обратилась вся наша многотомная литература, с ее пламенным духом несокрушимой твердости. Этот образ стального века, олицетворяемый именем и делом Сталина, долго витал и еще продолжает витать в нашем продыленном воздухе, воплощаясь в бесчисленных романах и пьесах о «стали и шлаке», о «сталеварах», вплоть до «Нового назначения» о чугунных людях, вышедших из плавильных сталинских времен и заправлявших процессом этого производства — своего воспроизводства.

Как в иные «темные» века процветала черная магия, так у нас — черная металлургия: в той же функции властного заклинания подземных сил ада, в топку которого подбрасывались руды, люди, идеи, судьбы. В самих словах «домны» и «мартены» угадывается искаженный отзвук древнейших понятий: демоны и отец их, Дьявол — мартышка Бога. Весь воздух Отечества пропитан этим металлическим запахом стальных и чугунных печей, выплавляющих больше черного металла, чем в любой другой стране и даже вместе взятых передовых. Уже во всем мире кончилась эра чугуна и стали, вытесненная более современными материалами, — а мы все не можем остановиться, и не экономическим расчетом нам диктуется этот избыточный рост, а какой-то мистической интуицией: не простынет ли душа народа, лишившись подогрева из этих пылающих печей? «Кипят, кипят котлы чугунные . . .» В других странах — свои увлечения: где бананы и тростник, где автомобили и компьютеры, — а у нас сталь да сталь, не технический только, но духовный продукт сталинской эпохи.

Там, в этих плавильных печах, с адским грохотом выковыривались из лучших сортов легированной стали сталинские кадры, которые страна делегировала из забоев на съезды, а со съездов — в еще дальние и глубокие забои, и имя этому несчетному множеству было — легион. Они сверкали повсюду малыми искрами, неистощимой россыпью одной, что вспыхнула на рубеже веков, на серой газетной бумаге, рассыпавшись затем сияющей россыпью мартенов, салютов, зарниц, пожаров, зарев, — и эти малые искры пропадали во тьме пустой, отзываясь в душах тех, кто оставался, даже не жалобным воем, а гнетущим молчанием.

Кадры решали все. Но чтобы стать кадрами, они и должны были мелькать, быстро сменяя друг друга, как в лентах кинохроники. Прежняя техника кино, когда сцены держались подолгу, словно в театре, привлекая взгляд последовательностью действия, смыслом конфликта, лепкой характеров, — эта «фильма» прошедших времен безнадежно устарела. Наступила эпоха монтажа — неожиданной склейки быстро сменяющихся друг друга кадров. Сталин и Эйзенштейн были соавторами изобретения. Один возился со своими кадрами, разрезая ножницами и соединяя клеем, чтобы воспроизвести быстрый ритм эпохи, динамику сменяющихся социальных разрезов и идейных ракурсов. Другой раскручивал сам этот ритм, вырезая одни кадры и подклеивая другие, чтобы эпоха убыстрялась, догоняла и перегоняла свою кинохронику. Закон монтажа, поражающего причудливыми сложениями и зигзагами, оставался тайной самого мастера: один кусок накладывался на противоположный, лицо Зиновьева на лицо Троцкого, лицо Бухарина на лицо Зиновьева, лица старых большевиков на лица кулаков и середняков, лица командармов на лица конокрадов, аккуратно подстриженные и в пенсе — на всклокоченные, бородатые . . . И от этого монтажа цепенел зрительный зал, а сидевшие в первых рядах деятели искусств от восторга махали рукой и шептали друг другу со слезами на глазах: «Мастер, мастер!».

И вот время, мастерски овладев полным набором клеев и ножниц, делает новый монтаж: Сталин по краям мол-

нии-зигзага великого завещания отрезается от Ленина и по краям пакта о ненападении приклеивается чуть ли не к Гитлеру. Усики у них во всяком случае так ловко совпадают, что если обратить внимание на главное: волю к власти, которая щетинками-штыками топорщится над губой, то окажется просто одно лицо, любимо-ненавидимое. Сталин — уже не Ленин сегодня, а Гитлер здесь.

Он возвращается, другой Сталин, — любимый враг, ненавистный вождь. Но дело, которому служили Ленин-Сталин, от этого не только не проигрывает, но одерживает победу в тот миг, когда весь мир уже приготовился к его поражению. Сталин возвращается, чтобы спасти дело социализма — уже не от Троцких-Бухариных, не от всяких прилипал-подпевал-довалок-лишенок, не от мнимых вредителей и рьяных пользователей... Теперь Сталин спасает социализм от самого Сталина: страна перекладывает сталинское ярмо на его стальную шею — и он держит, чтобы страна могла и дальше жить, «дыша и большевая». Сталин стоит, как тяжелоатлет, с рекордной штангой на вытянутых руках, и держит, держит, пока мы проходим мимо, в славно будущее без Сталина. Слава Сталину-злодею! Слава Сталину-преступнику! Слава Сталину-искусителю и искупителю наших грехов! Он стоит уже не на трибуне Мавзолея, а напротив, на старом Лобном месте, специально для него обновленном; и отсалютовав направо, праздничная толпа, проходящая по Красной площади, салютует налево — своему славному извергу, чья посмертная казнь, не в пример предыдущим, облегчает народную душу от тягчайших грехов.

... И снова привольно дышится, и дело кажется только начатым, еще непорочным, пусть отодвинутым назад, но тем более близким озорному, радостному началу. «И Ленин такой молодой, и вечный Октябрь впереди!» Время, благодаря Сталину, вновь обретает гулкость, далекий раскат в будущее. Те тридцать лет, что мы обходились без него, прошли все-таки глуховато, с одним именем, слишком коротким, безотзывным в своем вечно правом и гордом одиночестве. Теперь опять начинается: Ленин и Сталин. Ленин-Сталин. Дело Ленина — дело Сталина.

Пусть иначе, иронией и трагедией, переливаются смыслы в этом двойном слове: не тождество, а противоположность, не продолжение, а преодоление. «Ленин — Сталин» теперь звучит как название поединка, который свел за одной шахматной доской, на одной исторической арене двух сильнейших соперников. Кто кого? Объявляется матч Ленин — Сталин: на звание чемпиона нового мира. Разве это не волнует, не жжигает больше прежнего: черта соперничества на месте прежней черты наследства. Разве не раздвигается еще шире вокруг этой черты историческое пространство — чтобы вместить двух расходящихся перед боем противников? Уже не в обнимку поднимаются они по лестнице истории, а выходят на арену истории с противоположных сторон. Больше воздуха, больше простора между этими именами — но так же спаяны они неразрывно. Сталин — Ленин. Ленин — Сталин.

Теперь в этом просвете, образованном вокруг удлиненого тире, гуляет ветерок перемен. В эпохе, во всем учений социализма образовалась как бы реактивная тяга, необходимая для исторического ускорения. Было, к чему притягиваться, — не было, от чего отталкиваться. Был магнит, впередсмотрящая и впередзвущая идея, — не было трамплина, святого чувства покаяния и отталкивания от прошлого.

Были, были, но уж очень шаткие, прогнившие опоры, которые проваливались от первого толчка. Что там царь, легко расстреливаемый, точно в тире; что там фюрер, сам себя, точно в русской рулетке, застреливший? Эпоха их перешагивала, перепрыгивала их трупы и с пионерским задором бежала дальше, под руководством Ленина-Сталина. Не оставалось ничего надежного, от чего можно было бы надолго, навсегда оттолкнуться. Капитализм? Имперализм? Это — «что», а враг — всегда «кто». Вот и застопорилась: не с кем бороться. Хочешь взлета — ищи трамплина. На Николая-Керенского-Троцкого-Гитлера уже не

обопрешься: Ленин-Сталин всех врагов победил, всю их силу себе подчинил и присвоил — значит, самый сильный враг теперь должен обнаружиться в нем самом.

И вот, когда святой злобы уже не осталось на Руси, и все враги провалились, и опоры прогнили, и поприща для борьбы не осталось, и винить некого, и безумной ногой от почвы оторвались, бежим, бежим, а счастья нет и нет — доискались, наконец, до врага, появился он всерьез и надолго. Из Ленина-Сталина вышел Сталин и, как часовой на разводе, выполняя партийное поручение, отошел далеко назад и встал наизготовку в форме лютого лазутчика и снайпера по самым заветным нашим целям. Ленин же, выполняя другое партийное поручение, оторвался от Сталина и устремился далеко вперед, в даль недосыгаемую, но все же зовущую родным неправильным голосом и святым последним заветом-завещанием.

Долго, долго вся наша партия работала на Сталина. Теперь пришла пора Сталину работать на партию. Исполнить партию варварского гостя — вакхическую песню вдохновенного мракобеса: «Да скроется Солнце, да здравствует тьма». Вот с кем мы будем бороться до конца своих дней, вот на чей ложноклассический королевский гамбит мы ответим народной или, наоборот, демократической партией, — лишь бы противник был достаточно мертв, чтобы не умирать в нас самих. Сталина, в отличие от всех царей-фюреров, уже не спихнешь на свалку истории: ведь по праву социалистического первородства, он — в нас. Где-то глубоко, в потемках, на дне души... Поскоблишь социалиста — найдешь сталинца. Мы всегда будем бороться со Сталиным, двигаться вперед, отталкиваясь от Сталина. Рай спасен, потому что мы оказались его недостойны. И никогда не узнаем, каков он изнутри, потому что Сталин — внутри нас.

Все прежние пороки были чужие — от царизма, капитализма, фашизма, родимые пятна чужих загнанных тел. Этот порок — свой, это родимое пятно нашего собственного социалистического первородства, которому цвести и цвести; но родимому пятну не выцвести и в раю не быть никогда. Сталин — наш вечный порок, который делает предстоящий рай столь же недостижимым, сколь и непорочным.

Зато воистину эпоха ускорения началась; у нее появился реактивный двигатель. Раньше мы все надеялись достичь сияющих далей, держа впереди лунную подковку идеала-магнита и непрерывно идейно подковываясь по его образцу; а теперь научились использовать реактивную тягу, которая оттолкнет нас от грешной земли, — бушующим пламенем народного гнева и огненным столпом саможжения ввысь вознесет.

Все теперь стало на свои места. Окончательно сложилась наша собственная религиозная картина мира — сложившаяся из эпохи язычества избранный народ, пристыженный грехом и устранный карой, вступил в светлую эпоху сиянобожия. Раньше была предыстория, с какими-то неясными, языческими богами-двойниками, у которых разделились тела, но срастались головы, — подлинно священная история начинается только сейчас. У нас есть бог, свободный от всяких наветов и свято блюдуший завет, — то, к чему надо стремиться. И у нас есть его вечный враг, мятежный ангел, возомнивший себя носителем Света, но низринутый во тьму, сраженный и опаленный молнией завещания. Падший ангел собрал вокруг себя воинство тьмы, напал на светлых ангелов и истребил их, но последовало возмездие... И так до скончания веков будет разыгрываться это сражение двух сил, в котором нет посторонних, — ибо тут бог с дьяволом борется, а поле битвы — сердца людей. И всегда есть возможность объяснить, почему социализм не таков, каким он мог и хотел быть: враг оказался внутри самого социализма. Он сам его построил. Он объявил его полную и окончательную победу.

Если отбросить излишнюю щепетильность, таким «нашенским» врагом можно даже гордиться. Чужой, закордонный, оказался столь слаб и труслив, что даже достойного врага нам пришлось создавать самим из себя, быть

первопроходцами и на этом нехоженном пути. Наш Враг — из народа, против народа и для народа. Мало с нас индустриализации, коллективизации, культурной революции — так и сталинизацию пришлось проводить самим, до всего дошли руки, и ни демократические друзья, ни капиталистические враги ни в чем нам не помогли. Так мы сильны, что этой силы хватило на то, чтобы породить собственного врага, — хватит и на то, чтобы его одолеваять неустанно. Вот каков наш бог: он сам создал богоотступника, и поставил его во главе своих ангелов, и провидел его отступничество, и заклеил — но не уничтожил, чтобы вновь и вновь проверять и доказывать на нем силу своих всепобеждающих идей.

Пожалуй, Сталин, и дальше юнея на наших глазах, вон в кого превратился — в мальчику для битья. Теперь каждый, проходя мимо, сможет надрать ему усы, а то и в глаза бесстыжие плюнуть. Но нельзя, никак нельзя вместе с мальчиком выплеснуть и чистую воду освежающего учения, к живительному источнику не припасть.

Отныне всегда будет так: ленинизм и сталинизм, и черта между ними трещиной пройдет через сердце самого народа, который растянет срок осмысленного исторического существования благодаря этому тире, так нежданно-благородно вставшему между двумя его половинами, благодаря разделившей его священной возне. Одно слово всегда хорошее, другое всегда плохое, и непонятно, чего там воевать, ведь хорошее сильнее — да только все люди называют себя хорошим словом, а других — плохим. И получается: все мы ленинцы, а с другой стороны, все они сталинцы. Вот и приходится хорошему народу бороться против плохих людей, т. е. с самим собой. Ленин с нами, но Сталин в нас. Наконец-то модель отечественной истории вполне оформилась по исконному священному образцу и теперь может работать вечно, вплоть до обещанного рая, время которого не придет, потому что время будет идти: оно любит пешие прогулки. По удлиненной до бесконечности линии: сначала Ленин — Сталин, потом Сталин — Ленин.

Великое некогда слово распалось на два, противоположных по значению. Такие поучительные случаи происходят не только в идеологии, но и в языке и называются «энантио-семией»: одно слово порождает из себя два, которые расходятся до того, что становятся антонимами. Например, «начало» и «конец» были когда-то одним словом, обозначавшим и конец, и начало, т. е. некий важный рубеж; а потом, выйдя из одного корня, до того раздвоились, что теперь между «началом» и «концом» можно поместить уже целую середину, почти безначальную и бесконечную. Или слово «честь», из которого вышли два глагола с противоположным значением: «чествовать» — оказывать уважение, почтение; «честить» — бранить, ругать, оказывать непочтение.

Вот так и честное слово «Ленин-Сталин» разошлось на два, чтобы одно **чествовать**, а другое **честилось**. Великий исторический рубеж обозначенный этим словом, тоже раздвоился и обозначает теперь светлое начало социализма и его мрачный конец. Сталин — гибель, Ленин — спасение. Так развивается язык, так обогащается система идеологических знаков, разделяя свои слипшиеся значения.

Конечно, в языке подчас встречаются и полные синонимы, но для второстепенных, редко употребляемых слов, например, для обозначения самой науки о языке: «языкознание» — «лингвистика». Есть такие синонимы и для второстепенных знаков: Буденый-Ворошилов, Черчилль-Чемберлен. Но для главных слов в языке нет синонимов: чем заменить «хлеб», «сердце», «солнце»? Для слова «Ленин» нет и не может быть никаких синонимов — а те, что пробуют примкнуть и встать рядом, — тут же превращаются в антонимы. Например, смешно вспомнить, Ленин-Мартов, грустно вспомнить, Ленин-Троцкий, страшно вспомнить Ленин-Сталин.

Но не забудем воздать честь и самому языку, столь же могучему, сколь и свободному, а значит — предоставляющему свободу всем говорящим. Возьмем все то же выражение «Ленин — Сталин»: как его понимать? Тире в рус-

ском языке имеет по крайней мере два значения: следования и противопоставления. Это знак, выражающий нечто противоположное себе. Например: «лес рубят — щепки летят»: значит тире здесь передается словами «если . . . то . . .». Если лес рубят, то щепки летят. Если Ленин, то Сталин. Так это выражение прочитывалось раньше. Но не изменяя ни на йоту его написания, можно предложить и другой смысл. «Дуб рвется в высоту — к земле тростинка гнется». Здесь тире означает «наоборот», «напротив». «Ленин, и наоборот, Сталин». Так что вовсе не зачем переписывать историю — достаточно просто ее перечитать. Таков сам язык: говорит вещи противоположные, не меняя ни одной буквы, и поэтому всегда правдив и свободен. Правдив был полвека назад, когда радостно провозглашал: «Ленин — Сталин». Правдив и сейчас, когда бьет тревогу: «Ленин — Сталин». Достоевский когда-то обнаружил, что всего лишь одним трехбуквенным словом простые русские люди вполне могли выражать всю сложную гамму своих взаимоотношений. Что же тогда говорить про интеллигенцию, интеллектуальные возможности которой неограниченны. Пройдет сто и тысячу лет, из всего политического лексикона нашего времени останутся только два слова: Ленин и Сталин, да еще знак тире между ними, — но и тогда наша интеллигенция сможет выразить все сложнейшие оттенки своего политического мышления, употребляя одно только это двуединое слово.

(Далее следует короткая интермедия, в ходе которой все присутствующие по очереди произносят «Ленин — Сталин», каждый по-своему, искренно и вдумчиво, понимая меру своей личной ответственности перед историей).

Теперь остается высказать только одно частное предложение, которое могло бы послужить дальнейшему ускоренному развитию нашего идеологического языка и мышления, а также философии, теологии и иконографии. Мне кажется, что на сдвоенном силуэте профили Маркса и Энгельса как-то слишком буквально и навязчиво повторяют друг друга, и если бы их немного раздвинуть, мы получили бы два самостоятельных лица. Одно более смуглое, семитское, зато просветленное, другое более светлое, нордическое, зато несколько затемненное. Оба олицетворяют разные стороны учения, которое в одном лице прорастает вдаль и вширь могучей порослью курчавых волос; а в другом лице, тоже вырастившем из себя могучую поросль, все-таки немного укорачивается, подстригается, умеряет свой буйный рост. Дикий, цветущий рай, ветхозаветный Эдем как бы превращается в регулярный сад, ухоженный на английский манер. Нет, все-таки Эдем нам снится, и ради возвращения в Эдем совершали мы великую революцию, которая буквально и означает «возвращение». Пусть этот подстриженный профиль не заслоняет профиля буйного, вдохновенно разметававшегося, словно олицетворяющего собственные пророческие слова об источниках изобилия, которые польются полным потоком. Эти волнистые кудри и пышная разлившаяся шевелюра, эта героическая симфония, которую бессильна укротить палочка парикмахера-дирижера, — все это обещает полный поток и даже потоп изобилия, если верить древней примете о том, что в волосах заключена сила и счастье человека. Случайно ли, что не Сен-Симон, не Фурье, не Фейербах, не Энгельс, но именно Маркс стал художественным символом освобожденного человечества? В самом облике этого нового Самсона избранный народ узнавал свою могучую силу, обращенную против буржуев-филистимлян, как израильский народ — в образе богатыря-назоря, к волосам которого не прикасалась бритва. Взгляните на этих подстриженных или лысоватых идеологов — они лишь условные знаки своих учений, а Марксу сама природа щедро пролила поток грядущего изобилия на широкое чело, предназначив быть во плоти защитником и судьей. Много нашлось вокруг этого пролетарского Самсона коварных Далид, желающих остричь волосы у могучего борца и лишить его прирожденной силы в борьбе с угнетателями-иноверцами. И все они, эти оппортунистические Далиды, все эти чаровницы и баловницы мировой революционной борьбы, пытались причесать

и подстричь Маркса под Энгельса, лишая его диалектический историзм живой неукротимой мощи и втискивая в рамки казенного диалектического материализма.

Маркс — он и в жизни был порядочный растреп, ему некогда было следить за собой, потому что мыслям его было тесно в любой благоприличной оболочке. Если Энгельс походил на подтянутого офицера прусской армии, всегда готового выступить в поход, то вокруг Маркса всегда лепилось живое семейное месиво жизни, мешавшее быть ему вполне опрятным. В бумагах Энгельса царил идеальный порядок, в кабинете Маркса на стопке книг можно было увидеть тарелку с яичницей, а посреди рукописей возвышалась кружка превосходного эля, хотя он любил его далеко не так, как Энгельс. Но он был материалистом до мозга костей и не отделял процесса духовного производства от материального воспроизводства своей жизни. Одно включалось в другое, по известной формуле «бытие определяет сознание», и это не была со стороны Маркса лишь формальная дань доктрине, но стихийно присутствующий ему способ существования: он вкушал и творил одним двусторонним актом своего могучего, жизнерадостного организма и плодоносящего интеллекта. Он не очищал свой кабинет от запахов кухни, постоянно нуждаясь в непосредственном соприкосновении надстройки с базисом, вновь и вновь удостовераясь сам и убеждая других, что человек должен есть и пить не только в процессе, но и в самом фундаменте своего мышления.

А рукописи! Энгельс выводил буквы так аккуратно, что потомкам не стоило ни малейшего труда их прочитать и узнать все, что думал Энгельс. Почерк Маркса был столь же неприглаженным, как и его прическа, и разобраться в нем было бы невозможно без помощи Энгельса, от которого мы, собственно говоря, и знаем, что писал Маркс. Но не лучше попытаться впрямую, без посредника, вчитаться в Маркса! И тогда мы поймем, что никогда не сумеем до конца его прочитать — так сложен его почерк, так велико богатство его мыслей. Все новые и новые поколения будут читать и перечитывать эти роящиеся, растрепанные, скомканные и отброшенные буквы-зигзаги, буквы-взрывы, буквы-галактики — и погружаться в мир марксовской мысли, поистине не знающей границ и не переводимой ни на один из известных нам языков. Энгельсовский перевод на немецкий язык остается, по сути, лишь одной из возможных интерпретаций, но вавилонская клинопись и славянская кириллица могли бы сыграть не менее значительную роль в дешифровке этого универсального языка марксовской мысли.

Ведь надо же наконец признать, что не только в практике, но и в теории социализма была допущена произвольная ошибка, капелька упрощения, не имеющая, разумеется, ничего химически общего с пролитыми последствием морями крови. Все теоретические наследники и единомышленники Маркса — увы, начиная с Энгельса! — стригли его под одну гребенку так называемого «марксизма», а любая гребенка тесна для его могучей, вечно непричесанной охапки волос. Живое, растущее учение они укорачивали до нужд своей эпохи, до некоей непоколебимой и всегда неизменной доктрины — как бы прилизывали, гладили Маркса по волосам, а он нам дорог непричесанным, как олицетворение стихийной материальной мощи мироздания.

Разве не правда, что второй и последующие тома «Капитала», дописанные Энгельсом за Маркса, получились не так величественны, как первый, матерый томище, которым восхищался Ленин, как и всем матерым в человечестве. А «Диалектика природы» — всегда ли и во всем она соприродна той диалектике общества, которую развил Маркс? И все труды Энгельса как бы не вполне капитальны и в известном смысле представляют собой добавочную ренту с того огромного идейного капитала, который нажит Марксом благодаря рациональному обращению с наемной силой. Пока буржуи материально наживались на труде пролетариата, Маркс идейно обогатился на его борьбе.

К сожалению, наша наука пошла по несколько облегченному энгельсовскому пути, а махину настоящего, перво-

зданного марксизма ей еще только предстоит осилить, чтобы неоскопленное это учение и дальше оплодотворяло все наши помыслы и дела. В теории нам недостает трамплина, который внутри самого научного коммунизма служил бы такой же твердой площадкой отталкивания, как Маркс служит притягающим магнитом. Ведь не секрет, что прежние площадки оказались картонными, и даже сам товарищ Плеханов... Нет, кажется, не избежать товарищу Энгельсу нового партийного поручения: быть оппонентом Маркса по некоторым фундаментальным вопросам марксизма, фактически подмененного... энгельсианством.

Марксизм — в опасности! И спасти его может только Энгельс, как всегда — жертвуя собой. Была пора, когда Энгельс нарочно приуменьшал свой вклад, чтобы утвердить приоритет Маркса — но теперь стоило бы Энгельсу закрепить за собой приоритет в тех вопросах, которые мешают Марксу оправдаться перед потомками и по-прежнему вечной правотой звать из будущего. Энгельс считал себя марксистом, как Сталин — ленинцем. Но пары в процессе диалектического развития становятся противоположностями. Сталин — уже не соратник, а противник Ленина, и именно потому — спаситель ленинизма. Придется и Энгельсу стать основоположником энгельсианства, чтобы спасти марксизм и принять на себя огонь его критиков и страдания исторических жертв. Придется Энгельсу после смерти Маркса усыновить его законное детище — «научный коммунизм», как при жизни Маркса он усыновил его незаконное детище — Фридриха Демута. Домашняя работница Маркса и друг его дома образовали вымышленную чету, реальный плод которой был порождением самого Маркса, — чтобы спасти от бесчестия его брак и потомство. Так и теперь Энгельс должен дать свое имя кое-каким произведениям бурливого марксова ума, чтобы имя самого Маркса осталось свято для его духовного потомства и всех грядущих поколений.

И тогда окажется, что Сталин вовсе не был марксистом, а только энгельсианцем, да к тому же опешившим то, что уже было упрощено Энгельсом, на которого он ссылается в своих работах гораздо чаще, чем на Маркса. Через энгельсовскую стрижку остается у Сталина от всей вдохновенной шевелюры Маркса, этого священного, но вполне материального нимба, — только узкая щеточка усов. Так иссякла сила Самсона, так угас бушующий пламень у гладковыбритых наследников марксова учения. А началось это постепенное пострижение сподвижников Маркса в монахи, точнее, в евнухи марксизма — уж не с Энгельса ли?

Пора, мой друг, пора, — как бы подсказывает Маркс своему вечному соратнику. У научного социализма еще не выявлен его коренной порок, который позволил бы остаться непорочной самой социалистической науке. И если признать некое темноватое родимое пятно на теле бессмертного учения — пятно, достойное столь могучего тела, — то мне оно видится именно во вкладе Энгельса. Пусть разделяется близнецы — и история сочинит новую, еще более потрясающую легенду об интеллектуальной дуэли, которая исподтишка велась в их дружеской переписке. И окажется, что Маркс — наш буйный мавр, наш курчавый арап — был умертвлен на этой дуэли, но он воскресает в темном нимбе буйных волос, в этом сияющем венце первоученика марксизма. И осудит всех говоривших от его имени, но не осудит Энгельса, потому что тот был чист душой. Мне кажется, Энгельс чего-то мучительно не понимал в Марксе, хотя очень его любил и всю жизнь старался искупить свою вину. Это был первый в мире фабрикант, который трудился на благо пролетариата. И лишь когда Маркс умер, Энгельсу показалось, что он наконец понял. Он продержался еще двенадцать лет после смерти Мавра, сделавшего свое дело с мировой буржуазией, — но уже меньше пил пива и делался очень кротким и ласковым. И все переписывал на свой лад бессмертные марксовы каракули, состригая с них овчину, достойную выделки, — и не его вина, что в нее обрядился настоящий империалистический волк, прикинувшийся социалистической овечкой.

Нет, он не был мятежным ангелом, наш Энгельс, но



Анна Хусарска

Социалистический сюрреализм в Польше

Польская оппозиция... Носит ли она исключительно политический характер? Полицейские власти Вроцлава не воспринимают вульгарный* и остроумный фарс, благодаря которому ожил уличный Театр.

Заметка Анны Хусарски перепечатана из независимого журнала «Третья модернизация», который издается в Риге В. Линдерманом и А. Сержантом.

Почти сто лет назад Альфред Жарри своим «Королем Убю» посеял зерно Театра Абсурда. Пьеса эта «была поставлена в Польше, т. е. Нигде». Сегодня, учитывая ситуацию в стране (говоря языком политики), некоторые поляки превратили Театр Абсурда в оружие против своих Убюйственных правителей и напыщенности официально предписанной жизни. В мрачном ландшафте Польши времен пост-Солидарности — где громогласно объявляют экономические реформы, а уровень жизни резко падает, где окостеневшие помпезные митинги выместили спонтанные собрания — уличные хэппенинги кажутся подлинным благоразумием.

Все это оформилось прошлым летом. Странный циркуляр, всплывший на поверхность в южном городе Вроцлаве, гласил:

— Vulgaris (лат.) — простой.

«Гном — создание малоизвестное. Ни «Британская энциклопедия», ни «Краткий курс Истории Всероссийской Коммунистической Партии (Большевиков)», ни какие-либо иные вселенские труды не говорят о гномах ничего, кроме того, что это крошечные люди, живущие в лесах. Среди тех, кто был близко знаком с гномами — братья Гримм и Белоснежка. Социализм высоко ценит идею гномов, и не только за красный цвет их шляп. В Польской Народной Республике гномов, вероятно, можно будет увидеть 1 июня (Международный День детей) на Швидницкой улице в 3 часа дня. Гномы из сказок вполне могут оказаться патронами Второй Стадии Экономических Реформ».

Фактически, этот циркуляр был первым объявлением о первом крупномасштабном хэппенинге Оранжевой Альтернативы, свободной группы лиц, возглавляемой 35-лет-

Я Буду Долго Гнать Виласипет



ним историком искусств Вальдемаром Фидрихом (он известен также под именем Майор). Название группы наводит на мысль о священном для буддистов цветке и «Заводном апельсине» Стенли Кубрика. Известная как Новое Культурное Движение на ранней, более элитарной стадии, группа не делала политических заявлений. Она включала сторонников Солидарности, активистов Свободы и Мира (организации людей, отказавшихся от военной службы, и экологов) и членов Коммунистической партии.

Сам Майор был активистом Студенческого Комитета Солидарности до восстания рабочих в августе 1980 г. Свой первый хэппенинг — маневры Иностранного Легиона в дюнах — он поставил вместе с ребятами из психиатрической лечебницы, большинство из которых стремились избежать воинской службы.

Задачи Оранжевой Альтернативы — высмеять привязанность властей к помпезным празднованиям той или иной даты, показать пустоту их лозунгов и идиотизм административных правил. «Наш принцип, — пояснял Майор в интервью подпольному бюллетеню «Школа», — разрушать определенные стереотипы. Это могут быть нормы поведения или стереотипы в искусстве. Страх это определенная норма, тупость это определенная норма...» Кроме того, выставляя напоказ абсурд «со-

циалистического сюрреализма», группа вносит некоторое веселье за железный занавес.

Предприятие началось во вполне безобидный день: 1 июня 1987 г. десятки гномов в красных шляпах танцевали на городской площади Вроцлава, раздавали детям леденцы и пели колыбельные песни. Но вмешалась полиция, и многих участников забрали в отделение за «нарушение общественного порядка» и «замусоривание территории» (часть леденцов упала на землю).

Манифест следующего хэппенинга, озаглавленного «Кто боится туалетной бумаги?», гласил: «Социализм, с его экстравагантным распределением товаров, с его эксцентричной социальной позицией, выдвинул на первый план мечту о туалетной бумаге... Чтобы удовлетворить императив прогрессивного мышления, мы приходим 1 октября в 4 часа дня на Швидницкую улицу. Пусть каждый принесет с собой туалетную бумагу. Потихоньку вынимайте ее и раздавайте по кусочку людям. Распределяйте ее справедливо. Пусть справедливость начнется с туалетной бумаги». Ниже поставлена фабричная марка. Еще одна приписка заверяет каждого: «Мы можем подтереть и правительству».

Оранжевая альтернатива получает наибольшее удовольствие, высмеивая полицию и армию, наиболее устойчивые



институты любой коммунистической страны. В День Народной Полиции на городскую площадь был внесен пятиметровый цветок с надписью: «Юность Вроцлава в день Полиции». В День Польской Народной Армии были проведены псевдо-маневры под кодовым названием «Дыня под майонезом» и лозунгом «Варшавский Договор — Авангард мира».

Ритуальное празднество где-то к востоку от Берлина было святотатственно отмечено в связи с годовщиной Октябрьской революции в прошлом году «накануне», поскольку сама годовщина была в субботу, когда собралось бы меньше публики. Были сделаны почти восьмиметровые модели крейсера Авроры и броненосца Потемкина, и состоялась битва с участием Армии Буденного, деревянными лошадками и кавалерией в красных шляпах. На знаменах были начертаны разные послания: «Мы поддерживаем Бориса Ельцина», «Мы требуем восьмичасового рабочего дня для тайной полиции», «Красный борщ». Однако, полицию это не позабавило: было арестовано 150 человек.

Другой лозунг гласил: «Мы требуем полной реабилитации товарища Льва Троцкого». Вполне логично, что это послужило поводом западногерманскому телевидению для сообщения о троцкистской демонстрации. «В определенном смысле в Польше весьма заметен сюрреализм», —

прокомментировал лидер Солидарности во Вроцлаве Юзеф Пиньор, который принимал участие в большинстве уличных представлений Альтернативы.

Большинство политических мероприятий, проводимых польскими властями, оказываются отличной мишенью для тех, у кого есть чувство юмора. Например, правительственный плакат ноябрьского двухступенчатого референдума экономической реформы призывал: «Голосуйте Да! дважды». Оранжевая Альтернатива ответила: «Вроцлав, город 100 (200%) забастовщиков», «Реформа — сегодня, дисциплина и благосостояние — завтра».

Когда под рукой нет празднования какой-либо годовщины, «церемониальные даты» выдумываются. Фидрих и его друзья объявили 1 марта «Днем шпиона». В этот день на Швидницкой улице появились молодые люди в шляпах, черных очках и плащах со значками КГБ или ЦРУ на отворотах. Они несли слуховые трубки или воронки, как бы «подслушивающие устройства», осведомляясь у прохожих о секретных документах. Вскоре регулярная и тайная полиция принялись за свое дело и арестовали десятка два мистификаторов.

Польские независимые (т. е. нелегальные) средства информации всегда оповещают о крупных хэппенингах Оранжевой Альтернативы и уделяют серьезное внимание этой новой форме оппозиции. Официальная пресса пона-



Фоторепродукция Олега Зернова.

Художник — Николай Уваров — придумал своим пародиям название «дебилки». Всего «дебилки» пока 20, и они образовали серию в стиле соц.-арт.

чалу злобно накинулась на «нарушителей общественного порядка», однако недавно еженедельник коммунистической партии «Политика» поместил интервью с Майором, таким образом признав влиятельность его группы. Оппозиция уже удостоила его высшей чести: Вольдемар Фидрих получил Награду Солидарности в области Культуры за 1987 г.

Наиболее популярный хэппенинг состоялся 16 февраля во Вроцлаве, где он привлек 5 тысяч человек. Это был Марди грас. Процессию встретили дубинками и слезоточивым газом.

В следующем месяце 30 молодых людей в Познани провели парад «Маттиас Руст Коммандос» (названный так в честь немецкого пилота, превратившего Красную площадь в международную взлетно-посадочную площадку); в результате 15 участников оказались в отделении. Во время церемонии весной этого года филиалы Оранжевой Альтернативы в Гданьске и Кракове возродили старую традицию спускать по Висле зимних кукол. Полиция, судя по зверской реакции, не думала веселиться; куклы имели черты Войцеха Ярузельского и Михаила Горбачева.

Однако затем польский режим, похоже, избрал иной курс. 1 июня во Вроцлаве члены Оранжевой Альтернативы раздали 2 тысячи самодельных шляп для гномов и при-

звали: «Гномы всех стран, соединяйтесь!» В Варшаве в тот же день быстро движущийся объект, изображающий соответственно голову Ленина, объявил «революцию гномов». Обе акции не были прерваны.

Возможно, новая позиция отражает безвыходность ситуации, в которой оказался режим, пытаясь открыто противостоять Оранжевой альтернативе. В марте Фидрих получил 2 месяца тюремного заключения за проведение уличного фарса, во время которого он высветил животрепещущие вопросы польских феминисток лозунгом «Першинги — Нет, Гигиенические подушечки — Да». После трех недель «сатирического заключенного» — как себя называет Майор — помиловали. Свидетели — его друзья, все одеты в оранжевое, и подруга, также вся в оранжевом, которая тащила за собой пластмассового игрушечного льва на колесах — давали такие абсурдные показания, что суд несколько раз объявлял перерыв. Наконец, Фидрих был оправдан. После шестичасового заседания суд решил, что его действия (раздача на городской площади гигиенических подушечек) «нельзя квалифицировать как преступление в соответствии с польскими законами». Театр Абсурда живет и здравствует. И он — в Польше.

ПЕРЕВОД В. МАЗИНА



Мюнстерская Латвийская гимназия
Фото автора и Нормундса Науманиса



Анаберг



Айварс Клявис

Есть только надежда на будущее

Граница

Прежде всего, о том, что в природе а не в нас самих.

О границе со вспаханной полосой земли, колючей проволокой и пограничными столбами. О границе с пограничниками.

Гродно. Видно, что проводница вагона уже некоторое время слегка нервничает. Всем оставаться на своих

местах! Лица, застывшие от сознания долга. Где и когда вы получили паспорт? Ответить надо сходу, иначе еще подумают, что я его сам нарисовал. Все же язык заплетается, и нет полной уверенности, что мне поверили. Всем выйти из купе! Отодвигаются в сторону тряпичные коврики, открываются люки в полу вагона. По крыше вагона, в свою очередь, громяют тя-

желые шаги. Кто-то разгуливает у нас над головой. Наконец — хлоп! Печать в паспорте. Значит сам я его все же не нарисовал. Как хорошо. Пожалуйста! Спасибо!

Таможенный досмотр. Золото, драгоценности, произведения искусства? Нет, нет, нет. Разве я похож на такого? Хотя я и держу в руках выданную Союзом писателей бумажку, рукопи-

сями и книгами никто не интересуется или заинтересуются, когда вернусь. Наконец поезд трогается.

К тому моменту, когда мы пересечем границу Федеративной Республики Германии, эта процедура повторится раз семь, различие лишь в нюансах, но не по существу. Правда, обладатели красного советского паспорта лишь весьма условно интересуют пограничников Польши и демократической Германии. Порядок все же — порядок, и именно в Восточном Берлине, столице дружественной нам ГДР, мне приходится открывать чемодан, чтобы, докопавшись до самого дна, вытаскивать килограммовый альбом латышской живописи, доказывающая тем самым, что это на самом деле книга, а не заряженная боевыми патронами пулеметная обойма, с помощью которой я собираюсь покорить запад. Увидев, что проверяющего книга вовсе не интересует, делаю вывод, что логика этого мероприятия кроется лишь в причиненных мне неудобствах. Не понимаю, откуда у него такая ненависть ко мне. Ведь мы оба родились лет десять после войны. И сейчас февраль 1989 года.

Кельнский поезд провозит путешественников сквозь берлинскую стену.

Западную границу уже жду с чисто спортивным интересом. Подготавливаю документы и ухожу в оборону. Но на пограничной станции ничего не происходит. Совершенно ничего. Только две кокетливые девушки на перроне ставят печати на какие-то бумаги. Наверное — таможенницы. Позже, не заглянув в купе, через вагон проходят трое мужчин в форме. Очевидно, пограничники, хотя больше похожи на лесничих. Приходит контролер и проверяет билеты. И это все. Зато на следующей станции в поезд садятся пожилые дамы из армии спасения и вручают каждому гражданину с востока по розовому талончику. По нему можно бесплатно выпить чашки полторы кофе.

Охватывает странное чувство, чуть ли не обидает. Что это за неуважение к моей персоне. Ну, хоть что-нибудь спросили бы! На террориста я, конечно, не похож, но почему им знать — а вдруг я агент коминтерна, у которого полон чемодан соответствующей литературы. Проверили бы, по крайней мере, если не больше.

Позже, в Мюнстере, Кельне и Бонне, я увидел, что все это с избытком можно получить там на месте, и утопическую, и коммунистическую литературу, начиная Сен-Симоном и кончая последними выступлениями Михаила Сергеевича Горбачева в Организации Объединенных Наций. Поэтому нет никакой нужды так далеко ее транспортировать.

Хочешь — не хочешь, а приходится сделать вывод, что мы со своим социалистическим плюрализмом вовсе

не опасны ни капитализму, ни буржуазной демократии, потому капитализм может позволить себе роскошь не проверять наши документы, не рыться в чемоданах, а взять да угостить кофе.

Мюнстер

Примерно так я его представлял. С Мюнстерской Латышской гимназией и институтом, с «Brīvā Latvija», с несомненно уникальной библиотекой, с воспоминаниями о Зенте Мауринь и Янисе Янсудрабиньше, с неподдельной и в то же время непреувеличенной сердечностью, с нескончаемыми разговорами о Родине, но больше всего с той латышской средой, которую тщательно охраняют и лелеют.

Мюнстер. Таким я его представлял, и он меня не удивил. Зато удивило другое. Насколько разнообразно, разнородно, даже противоречиво общество, именуемое себя изгнанным. Поэтому в наших представлениях одинаково опасны обе привитые в течение времени крайности — как осуждающее презрительная, так восхищенно восторженная. В сущности это мало чем отличается от примитивного деления на прогрессивных и реакционных, потому что так же не позволяет разглядеть живых людей. А важно видеть именно этих людей, чтобы попытаться понять их опыт, боль, сомнения и убеждения. Иначе еще долго будем блуждать в потемках и не продвинемся дальше быстрого сенсационного открытия телемостов недавнего прошлого, заключающегося в том, что все люди на свете очень похожи, потому что у каждого две руки, две ноги и одна голова. Что касается нас, то мы, вдобавок, еще и латыши. А дальше? Да здравствуют латыши! Ну, да здравствуют. А дальше! Чувствуем ли мы, слышим и понимаем друг друга? Дальше! Дальше...

Меня удивил серьезный интерес к Латвии. Газеты, получаемые в Мюнстере через неделю после их выхода, внимательно просматриваются. То же с журналами. В одной квартире на книжной полке я видел все номера «Коммуниста Советской Латвии» на латышском языке, от первого до последнего. В отдельных деталях, фактах и нюансах некоторые разбираются лучше, чем кое-кто здесь. Все же представления чаще похожи на цветные стеклышки калейдоскопа. И, вращая этот калейдоскоп, каждый видит свою картинку. В соответствии с опытом или тем, что хочет видеть. Поэтому вполне естественно, что, глядя на Латвию через этот калейдоскоп, господин Синкс, редактор «Brīvā Latvija», видит совсем не то, что воспитанник выпускного класса гимназии. Тем не менее, и тому, и другому недостает того чувства реальной ситуации, которое для нас здесь, дома,

так само собой разумеется — как воздух, которым каждый день дышим и который так трудно объяснить. Можно сказать и так: недостает чего-то объединяющего, из фрагментов создающего единую картину, потому и такое различие в представлениях.

И еще меня удивляет, как сосуществуют эти столь различные взгляды. Без попыток уничтожить или подчинить друг друга, наоборот, стараясь в этих различных выкристаллизовать истину. Терпимо и цивилизованно. Хорошо бы и нам этому научиться. Чем быстрее, тем лучше, потому что в нас в этом отношении еще много варварства, при котором важнее истинные или выразитель этого мнения.

И все же больше всего меня удивило, что уже пятый десяток лет, через поколения в чужих странах и среди чужих людей сохраняется принадлежность к своему народу. Через язык, культуру, образование и латышскую среду. Это главное, что их объединяет. Таких различных и разных. Нередко оболганные и ноносимые на родине, они все же остались верны своей стране. Кто-то сказал, что это своего рода геройство. Не ассимилироваться. Оставаться латышами. Очевидно. Мне это трудно понять, поэтому не берусь судить. Только удивляюсь.

Анаберг

Анаберг — это замок. На горе, недалеко от Бонна. Латышская собственность, где хозяйничают Дайнувите и Андрейс Урдзе.

Высокие белые потолки. Стою и смотрю на книжные полки. Рядом друг с другом Андриевс Ниедра и Янис Ниедре, Аншлавс Эглитис и Регина Эзера, Карлис Скалбе и Зигмундс Скуиньш, Элина Залите и Мара Залите. Вот где все мы давно встретились! Мертвые и живые. Разбросанные по свету. Какие страсти и противоречия. Какой покой и равновесие. Какая демократичность, нет никакого разделения. Нит ни литературы изгнания, ни литературы прошлого, ни настоящего, ни будущего. Мы только буквы одного алфавита. Высокие белые потолки. И, когда я смотрел на эту книжную полку, мне не казалось, что я беден. Оценит ли кто мои богатства, поймет, насколько они нужны всему миру? Ах, этот комплекс маленького народа!

В Анаберге немецкие студенты изучают латышский, литовский и эстонский языки. Три группы, в каждой по восемь человек. Филологи, историки, юристы и журналисты. Языки балтийских народов можно изучать в нескольких немецких высших учебных заведениях, но такие интенсивные курсы проводятся первый год, и их финансирует немецкое правительство. Разработаны программы, методика преподавания, доказана необходимостью их проведения, и теперь

чуть ли не с фанатической отдачей люди тратят силы для их успешной работы. И соответственный интерес, — на следующий год еще ничего не объявлено, а желающих учиться уже больше, чем можно принять.

Кто заставляет немецких студентов учить латышский, литовский и эстонский языки? Никто. Они в этом видят чисто личную перспективу. Один собирается заняться изучением прибалтийских проблем, другой убежден, что язык пригодится для будущей работы, карьеры, еще кто-то просто собирает иностранные языки, потому что это богатство с устойчивыми процентами. Потому они готовы не только пожертвовать шестью неделями каникул, но и заплатить за это. О результатах можно будет судить осенью, когда студенты будут пополнять полученные на курсах знания в Риге, Вильнюсе и Таллинне, но надо сказать — пока они удивительны. Оказывается, — достаточно двух недель, чтобы можно было, пусть в начале элементарно, все же общаться на эсеме до этого чужом языке. А может быть в этом нет ничего удивительного, и на самом деле надо поражаться нашей собственной языковой неграмотности.

Ясно, что в этом контексте, по крайней мере, странными кажутся разговоры о трех или пяти годах, которые потребуются, чтобы нормализовать ситуацию с латышским языком в Латвии. Так же, как и ссылка на несовершенство программ и на нехватку методик. Более того — есть даже люди, там, в Анаберге, Мюнстере и других местах, которые накопили неоценимый опыт в этой работе. Вопрос — готовы ли мы им воспользоваться? Но я понимаю, что камень преткновения не в методике. Камень преткновения в том, что немецким студентам кажется само собой разумеющимся оценивать любые знания как необходимые. К сожалению, в Латвии можно обойтись без латышского языка, он вовсе не необходим.

Какой давно известный факт! Какой трагический парадокс! К тому же вдвойне трагичен своей банальностью.

Несколько вопросов, на которые нет ответа. Во-первых, чаще всего спрашивают примерно так.

— Ну, как там? — Подразумевается там, за границей.

Отвечаю:

— Это невозможно рассказать.

— Ну хотя бы в двух-трех словах.

Тогда догадываясь, чего от меня ждут, говорю:

— Там есть все, что только можно вообразить, и вдобавок еще то, чего уже никак нельзя вообразить.

Сколь бы странно это не было, но такой ответ обычно удовлетворяет, хотя это только игра слов, потому что существует два совершенно различных понимания того, что означает

«все». Для выросшего при социализме это часто ограничивается определенным количеством пар обуви в магазине, одеждой, в которой не стыдно показаться, и колбасой, которую можно купить без очереди. Извините, — вульгаризирую. Я никого не хочу здесь обидеть, но наша жизнь определяет и наши представления. И они настолько же бедны, как сама жизнь. При капитализме же, с которым мы успешно боролись до тех пор, пока не оказались в критической ситуации, при нем — это «все» и надо понимать как «все». Только одно условие — чтобы получить, необходимы деньги. Чтобы были деньги — надо работать.

Во-вторых. Многие спрашивают: — Как они там живут? — Имея в виду латышей.

Надо сказать — довольно зажиточно, хотя люди, с которыми мне довелось встретиться, несомненно выше материальных ставили духовные ценности. Кажется, что и этот аспект существует для Мюнстера. К тому же надо забывать, что участие в латышских мероприятиях — довольно дорогое удовольствие. Чаще всего никто за это не платит. Самому приходится жертвовать и временем, и деньгами, потому что, в основном, именно пожертвования поддерживают латышский дух. Добровольные пожертвования, в соответствии с возможностями каждого. Но мы обычно забываем об этом весьма существенном аспекте, когда говорим о культурной жизни наших соотечественников на чужбине или радуемся их достатку.

Да, это были богатые и даже очень богатые люди, только совсем по-иному, чем это кое-кто представляет. Во всяком случае, я не вижу больше богатства, чем свобода духа. Поэтому мне вовсе не хочется обсуждать представление о богатых заграничных родственниках, не знающих, куда деть деньги. Это глупость, питаемая, непониманием двух различных уровней жизни, с одной стороны, и наигрышем, с другой.

На самом деле, мы намного буржуазней. Своей вечной погоней за деньгами, хотя на них почти ничего и не купишь, за вещами, которых нет. Материальным престижем, который надо завоевать любой ценой. А больше всего тем, что квартира, машина, видеомагнитофон или одежда автоматически определяют и ценность человека.

Еще одно свидетельство бедности. В-третьих. И это вопросы, волнующие меня самого.

— Как долго мы будем понимать друг друга, проживая в столь различной среде? Не приближается ли то мгновение, когда два поколения, которым надо бы было продолжить разговор, вдруг не поймут друг друга?

Во всяком случае, симптомы этого уже чувствовались.

Нет, в области эстетики мы еще долго будем понимать друг друга. Будем беседовать о музыке, искусстве, литературе. Спорить о внешних проявлениях разных явлений. Но стоит начать говорить о самих явлениях... Об их сущности. Об этике. Хочется подчеркнуть — именно об этике. Как только обратимся к ней, разговор может зайти в тупик.

Наше мышление определяется ситуацией, в которой живем. И эти ситуации слишком различаются.

Пока у нас рассуждали о научно-технической революции, в мире произошла технологическая революция. Пока мы еще только боремся за права человека, в других местах они давно стали элементарной нормой.

Десятилетиями накапливались, диаметрально противоположные представления. Теперь их пытаются преодолеть или, хотя бы, не замечать; все же не верю, что вдруг придет новое поколение, совершенно свободное от трагического насилия прошлого. Это невозможно. Скорее, совсем наоборот — это прошлое будет тянуться вслед как комплекс, как тяжелое бремя, оставляя неизгладимые рубцы в мышлении.

И, больше всего, боюсь, что придет время, когда двое будут говорить на одном языке, произносить одни и те же слова, а думать будут каждый свое. И ничего не поймут. Двое чужих латышей на большаке мира.

Школа

Они молоды. И вероятнее всего им угрожает довольно безнадежная перспектива на будущее. Возможно — с противоречиями, предрассудками, мешавшими предыдущим поколениям, молодые справятся легко, но, если хотим существовать в Латвии и в мире, то просто нет иного пути, как найти разумное решение, исключаящее любое непонимание. И это решение не сможет найти никто другой, лишь они сами.

Латышская гимназия в Мюнстере. Неполная сотня учащихся. С пятого по тринадцатый класс. К тому же тринадцатых класса два. Один обычный выпускной класс, второй комплектуется на год и в нем учится латышская молодежь со всего света (большинство из Северной Америки), уже получившая образование в гимназии. Только что, преодолевая различные подводные камни, школе был присвоен статус немецкой частной гимназии. Что еще? Великолепные классы, оснащенные необходимым для занятий техническим оборудованием. В учительской копировальная машина, в случае необходимости ею могут пользоваться и ученики. Удобные общежития. Хорошая столовая. Творче-

ская самодеятельность учащихся, не в нашем запрограммированном понимании, а в прямом смысле этого слова — от школьной печати до пения, танцев, музицирования. Присутствие взрослых почти не чувствуется. Если же совсем без них не обойтись, то это отнюдь не навязчивое руководство и организация.

Все подчинено главному — образованию, воспитанию.

Ни на занятиях, ни вне их не слышал мелочной опеки, указаний или выговоров, столь принятых у нас. Как ты сидишь! Как ты стоишь! Что ты делаешь! Что у тебя в руках! Не слышал окриков, разносов, шпыняния. Учитель учит и не тратит зря ни времени, ни энергии. Ученик должен сам знать, как он сидит, стоит и куда идет. Надо сказать, что и сами ученики несравненно более уравновешенны, выдержанны, чем их одноклассники в наших школьных кабинетах. Кто хочет, внимательно слушает на уроке. Если кто-то не хочет, может не слушать. Некоторые этим пользуются. Правда, не мешая другим. Преподавателя это не волнует. Во всяком случае, он этого не показывает. Ведь все равно, на следующем или через урок надо будет писать контрольную работу, где знания каждого будут видны. Поэтому не волнуют банки сока на партах или одежда учеников. Ведь это не существенно. Каждый одевается в соответствии своему духу. Не для того, чтобы выделиться среди других, а чтобы подчеркнуть свою личность. Хотя убежден, что человек, десятилетиями привыкший к невыразительным синим формам, воскликнул бы, неутерпев: «Как пугало!».

Учитель — несомненный авторитет, и этот авторитет основывается на его знаниях. Ученики не боятся спрашивать. В любой момент и прямо с места. Как только появилась неясность. Они также не боятся возразить, оппонировать, сообщить появившееся собственное мнение. Тогда учитель должен защитить свое. Во всяком случае, занятия, на которых мне посчастливилось присутствовать, были интересны, насыщены содержанием. Не видел, чтобы кто-нибудь тайком зевал. Кто хотел, дремал в открытую.

Никак не могу понять, что делает наши школы такими неинтересными, скучными и малорезультативными. Нежелание, незнание или беспомощность?

И все же, несмотря на эти отличия, считаю — Мюнстерская гимназия могла бы стать одним из мест конкретного сотрудничества. В самом ближайшем будущем. Начать с обмена отдельными учениками и преподавателями. На определенный срок. Думаю, в Латвии достаточно хороших педагогов, способных войти в среду гимназии, прочувствовать ее и, работая там, учиться и самим. Убежден также, что любая наша шко-

ла была бы рада сотрудничать с коллегой из Мюнстера. Говоря об учениках. Родившимся на чужбине это была бы возможность самым непосредственным образом познать Родину. В свою очередь, Латвии, как никогда, нужны молодые, образованные люди, способные воспринимать отчужденно в мировом контексте. И несомненно, Мюнстер дает такую возможность.

В гимназии отнюдь не отвергали подобную перспективу на будущее. Более того — ее считают довольно реальной. Директор, профессор Валтерс Ноллендорфс, частично в этом видит роль гимназии в будущем. Ученикам она просто кажется интересной. Теперь все должны научиться практически реализовать эту возможность, время действительно не ждет.

Сотрудничество, надежды и необходимость. Да, время действительно не ждет. Поэтому больше всего разговоров — о сотрудничестве. О том, как сейчас помочь Латвии. Чисто практически, по-деловому, экономически. Подобные разговоры повторяются каждый день и в самых разных местах. Но сотрудничество выдвигает хотя бы несколько условий и требует гарантий. Насколько эффективно будет вложены средства? Какой будет отдача при нашей системе хозяйствования? С чего начать, ведь все сразу охватить невозможно? Есть ли гарантии, что девяносто процентов прибыли опять не уплывут из Латвии? Есть ли гарантии, что построенные на деньги латышей предприятия не будут в один прекрасный день национализированы, а их сотрудники репрессированы? Наконец — где, как и с кем сотрудничать? На все эти вопросы никто толком ответить не мог. Зато уже сейчас ясно, что из вложенных в Интерлатвию средств, в самой Латвии остается слишком мало. Зато уже сейчас ясно, что некоторые кооперативы, заботясь о своем кармане, а не об этой земле, готовы распродать все. А Народный Фронт занят политической борьбой, и нет людей, которые непосредственно занялись бы этим. Вернее — из лучших побуждений занимаются все, но дальше разговоров дело не идет, потому что никто из них никаких гарантий дать не может.

Да, я хорошо понимаю, что необходимы и условия, и гарантии, но еще лучше я понимаю, что сейчас нет другого выхода, как попытаться выйти из этого заколдованного круга. С ростом бедности все больше обостряется политическая борьба. И уже сейчас мы на своей земле в меньшинстве. Если проиграем, может случиться, что помогать потом будет некому. Кому нужен будет латышский дух, пусть и тщательно взлелеянный: с каждым следующим поколением он все больше будет превращаться в экзотическую атрибутику или лохмотья, которые будут трепать ветры вселен-

ной, или в медленно угасающие воспоминания о прошлом.

По-моему, неотлагательное экономическое сотрудничество можно сравнить со спасательным кругом. Как долго рассуждать — бросать или не бросать этот круг, каждый должен решить сам. Другой вопрос, о котором столь же часто говорили — возвращение домой. С этой мыслью живут там все латыши. Она в значительной мере помогла им выдержать.

У меня часто спрашивали:

— Как на нас посмотрят, если мы купим сельский дом и четыре, пять месяцев в году будем жить там, тратя свою валюту? Не будут ли на нас смотреть, как на таких белых баронов?

Я пытался объяснить, но вернувшись, понял, что, на самом деле, сам должен был спросить:

— А вы, как вы, живя в Латвии и расходуя свою валюту, будете смотреть на своих бывших одноклассников, рассказывающих про Сибирь? Как поладите с соседом — колхозником в засаленной одежде, пропившим свою жизнь? Или с дояркой, она встает в четыре утра, у нее больные ноги, но она идет на ферму, зарабатывает сотни, но, если у нее и находится время их потратить, то купить на эти деньги ничего нельзя. Как вы на них будете смотреть?

Поэтому извините. Не хочу никого огорчать, но мне кажется, что до момента возвращения еще очень далеко. По крайней мере, я его пока не вижу. Сейчас слишком рано говорить о возвращении в свободную Латвию. Сейчас можно говорить только о самопожертвовании ради Латвии, добавок без всяких гарантий на будущее. Но, насколько помню, мы это даже не обсуждали.

Возвращение

Опять через Восточный Берлин.

И именно там я впервые так близко увидел то, что раньше приписывали только западу. Толпу разъяренной молодежи. Вечером. На вокзале. Несколькими сот. Из поколения, не имеющего иллюзий. Цинично грубая и всемогущая в сознании собственного превосходства, она промчалась мимо, не считаясь ни с чем. Звенели разбитые стекла.

Еще несколько лет назад это вполне реально угрожало и Риге. Вспомните Дни искусства! А теперь не грозит?

Именно в этот момент я яснее ясного понял, что у нас нет дороги назад, нельзя отступить ни на шаг, если не хотим, чтобы нас перемолола или ассимилировала эта толпа.

Есть только надежда на будущее или безнадежность прошлого. И именно безнадежность порождает грубую силу толпы. Как видите — выбор весьма ограничен.

КЕНТАВРЫ В ГОД ДРАКОНА

Перестройка напала из-за угла и приперла нас к стенке. Деться некуда. Тем, кто раньше кривился от одного вида газетных передовиц, пришлось поменять привычки. Мы заговорили вдруг на одном языке и неожиданно лишились удовольствия страдать от «ностальгии по настоящему».

Но не слишком ли долго мы отвыкали иметь иллюзии, чтобы теперь захлебнуться новыми? Эйфория, что в крови у нас, портит зрение. Родит пресловутое единомыслие. Мешает не только на прошедшее, но и на происходящее взглянуть трезво со стороны. Увидеть сегодня как процесс и в процессе.

Термину «перестройка» грозит участь всех слишком удачных символов — испарение смысла.

А перестройка не достижение, тем более, не результат, как может показаться при получении утренней газеты или заграничного паспорта. Чтобы выделить процессуальность происходящего, скажем просто, без символов: все, что творится вокруг, и все, что творим мы сами, есть ПЕРЕХОД. Ни меньше, ни больше. Всюду — соответственно и в искусстве. Естественно, и в искусстве кино, в который раз уже подтвердившем превосходную степень своей важности моментальной отзывчивостью. Многие просто не решаются назвать перестройку переходом: то неясное нечто, что должно наступить вслед за ее концом, не одних врагов ее пугает, но и друзей. Ибо даже представить, что перестройка когда-нибудь КОНЧИТСЯ, тем, кому она даровала глоток свободы, СТРАШНО. Страшно не успеть).

Фильмы переходного времени почти все стоят на одной ноге или сидят меж двух стульев, но их не стоит в этом винить. И не потому только, что это все-таки лучше, чем стоять на коленях или сидеть на стуле — одном, но густо намазанном клеем, как муха, на липкой ленте. Ведь то, ОТ ЧЕГО мы уходим, налицо: тут и несвобода, и равнодушные, и нечистая совесть, и убийственный разлад мысли и слова, слова и дела. А вот в то, К ЧЕМУ мы идем, пальцем ткнуть затруднительно. Конечно, к свободе, но что это такое! Не одно же право говорить то, что думаешь, а делать то, что говоришь. Спектр свободы широк, может быть, бесконечно красочен. Рабство же монохромно.

ПЕРВЫЙ ПУТЬ. Из дневника.

«АССА» — киношлягер, застрявший между постмодернистской эстетикой и социальной критикой и напоминающий буксующую на бездорожье машину, из которой доносятся звуки динамичного рока, создавая — в том числе, и для авторов — иллюзию стремительного движения. Чтобы создать эклектически-целостную картину стагнационного упадка духа и быта, авторам не достало нахальства выбросить на свалку старые добрые психологизм и повествовательность и целиком довериться выбранному художественному языку, причудливо слепленному из старых штампов, «низких» жанров и неправдоподобных намеков. «Асса» станет классикой «середины» и останется

фильмом о том, как ЯЗЫК не стал РЕЧЬЮ, а, значит, и СОДЕРЖАНИЕМ.

«ФОТОГРАФИЯ С ЖЕНЩИНОЙ И ДИКИМ КАБАНОМ» — робкая, но привлекательная попытка оглядеться и обжиться в пространстве Чувственного. Не чувств, эмоций и пр., чего хватало в отечественной продукции и раньше (см. производственные фильмы-истерички), а Чувственного как особой тайной реальности, чего прежде не было (что вообще не характерно для русской традиции, но фильм сделан в Латвии), и чем успела пресытиться Европа — от первых лент Бунюэля до Бертолуччи и Трюффо. Тут авторам не хватило эротизма и иррациональности, поверив в действенность которых, только и можно проникнуть под материю, под сюжет — ПОД СОЗНАНИЕ.

«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-го» — самый удачный и наиболее откровенно переходный фильм переходного времени. Его внутренняя коллизия «формы» и «содержания» — во многом схожа с коллизией «Ассы», но исходные полюса ярче и драматичнее. Авторы решили рассказать о зыбкой и мутной (тоже в своем роде переходной) поре, когда Сталин умер, а сталинизм — еще нет, языком вестерна (или «истерна»), но остановились на пол-дороге, в результате — еще один фильм-КЕНТАВР.

В нем есть пронзительные места, где из столкновения вестерна и Истории (путь, по которому следовало идти до конца) высекается подлинный драматизм. То, например, где старый репрессированный ученый узнает своего собрата по историческому несчастью в старом бандите, который, забыв о смертельной схватке, сообщает ему, что их общий кровавый враг Берия разоблачен, — и в тот же миг падает замертво от неизбежной пули героя, летящей по строгой траектории жанра. Но авторы не доиграли ни в одни из ворот: для «исторических» им не хватило бесстрашия, для «жанровых» — вкуса к игре и канону.

«Холодное лето» обещает: следом за ним придет фильм, в котором историческое зло явится в обличье не вечных и вездесущих бандитов, но советского чиновника с партийным билетом, а сама история — в «обличье» стиля, беззастенчиво свидетельствующего о том, что никакой стиль не в силах скомпрометировать истины, ибо является лишь ее инструментом.

ПЕРЕКРЕСТОК

Бывают, видимо, времена, когда само слово «свобода» лишается смысла и пользы, если не научиться читать его по слогу. Со всем нужно уметь обращаться — что с кинокамерой, что со свободой.



А мы так долго пытались сохранить достоинство и при этом еще что-то сказать! И при этом все же не разозлить цензора — мы так долго приучали свое подсознание быть сознательным, автоцензором (свой роднее)! . .

Свобода не нуждается в классификациях, но мы нуждаемся в классификации свобод — всюду, а здесь, чтобы верно оценить фильмы переходного времени.

«Первый путь», по которому теперь, к счастью, двинулись многие (из неназванных: «Игла», «Господин оформитель», «Вельд»), ведет в сторону РЕЧИ, и путешествие по нему основано на более или менее осознанной убежденности, что право говорить обо всем — условие для свободы необходимое, но не достаточное. Уподобив этот путь вертикали, мы легко отыщем горизонталь перехода — она устремлена не к свободе СЛОВ, а к свободе СЛОВА; жестче ее можно обозначить как горизонталь информации. Она нужна, и то, что я отдаю перспективу и предпочтение вертикали, вовсе не мешает мне признать это. Она нужна и она коварна — уже самой своей нужностью.

Она нужна, потому что обрешему дар речи прежде всего необходимо выговориться.

Она коварна, потому что сориентирована на время, которое склонно преувеличивать ее значение вследствие собственной «горизонтальности».

Она коварна, потому что начинается не с субъекта, а с социума, т. е. со спроса. Но переходный спрос — изголодавшийся спрос — нетот, что рождает предложение, а тот, что глотает все, что ему ни предложат.

Коварна она, наконец, и потому, что лишена дорожных знаков и указателей. На ней уживается много свобод: свобода совести и свобода бессовестности, к примеру. А пожелай отменить ее — эту последнюю, вредную, — и уже новая несвобода . . .

ПЕРЕСТРОЙКА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Сегодня у нас почти никто не занимается сознательным эскейпизмом. Напротив, все стремятся обнародовать свою социальную ангажированность, ибо теперь это не стыдно, как раньше.

Кроме того, для эскейпизма — все меньше пространства. Прошлое закрылось для него, став одной из самых болевых точек настоящего. Что остается? Ну, разве что заграница...

Никите Михалкову («Очи черные») и здесь не изменило чутье: перебравшись на Запад после бурного (и сомнительного в смысле идей) свидания с нашей современностью в «Родне» и «Без свидетелей», он выказал редкое знание тамошних вкусов и представлений, да еще с учетом здешних взглядов и настроений. Еще неизвестно, какой «звездой» попадешь в «десятью» — состарившись Мастройни или юной Гласностью, — так пусть играют в «ко-старинге». И вот рядом с «жестоким» бульварным романсом заискрились белозубым юмором картинки старой доброй матушки-России, неоглядной, непролазной и непробиваемой в своем бюрократическом ханжестве. Но что для «них» — квинтэссенция «русского духа», для нас — «клюква», и не простая, а «про застой», хоть и увиденный мило улыбчивым иностранцем. Что ж, можно позавидовать Михалкову: не всякий из нас, живущих тоже уже в своем роде в «другой стране», найдет в себе силы увидеть стыдное прошлое как «заграницу». Чем не модель эскейпизма новой формации! Можно даже и не уезжать.

Легкость, с какой наши авторы принялись изничтожать «застой», потрясающа. И не легкость критики, а вот что: из ими же сотворенных руин «застоя» сами авторы восстают живыми-здоровыми. Будто и не с ними это было, и не про них. Перестройка, так перестройка! Как говорится в одной недавней комедии: «У меня кишечник перестроился сразу!»

КРИТИКА В ЗАКОНЕ

Южнорусский «крестный отец» элегантней нью-йоркского и почти так же всемогущ. Сладкая жизнь на нетрудовые доходы. Половой акт под плодоносящим солнцем Советской Грузии. Раскаленный уют на голом животе как средство рэкета. Отпиленная рука как средство спастись от смерти в собственном гараже, к которому ты прикован наручником. Джентельменский набор первого советского триллера эпохи перестройки.

«Воры в законе» — фильм гладкий, как пинг-понговый шарик, и так же от всемогущего отскакивающий. Поначалу он кажется невинным блефом на темы, еще вчера подзапретные. Проституция, советская мафия, коррупция правоохранительных органов — сперва о них заговорили газеты, потом литература и театр, теперь, наконец, и кино. Отчего же не поговорить и про это, да только кое-кто решил, что скандального предмета уже достаточно, чтобы то, что он делает, называлось «искусством», а сам он — «борцом за перестройку».

Но игрушечность критической атрибутики — еще цветочки, а скрытые за яркой оберткой ягоды (все те же, знакомые, кисленькие) обнаруживаются тогда, когда нам все навязчивей начинают напоминать, что все это «про застой», но не про наши счастливые денечки. Вместо портретов Горбачева, которым здесь самое место, все стены фильма увешаны портретами Брежнева, и уж когда чувство страха быть «неправильно понятыми» совсем вытесняет у авторов чувство юмора, они сталкиваются лицом к лицу с уличным портрет увешанного орденami злодея с невинно осужденным правдоискателем. Глаз его мы не видим, но ошибки быть не может: он смотрит с ненавистью и презрением. Вроде как общественный обвинитель.

Нам же ничего другого не остается, как поздравить авторов (нет, не с коммерческим успехом — с примерным поведением: «Узниками совести» им не бывать, разве что своей) и приступить к новой порции гласности, приправленной погуще и сервированной поэзией.

УБИТЬ ДРАКОНА В ГОД ДРАКОНА

Смелость в наше время — не редкость. Если раньше соревновались «хорошее» с «еще лучшим», то теперь

соревнуются смелое с еще более смелым. Например, что может быть смелее, чем в год Дракона выйти к людям с призывом — «убить дракона в себе»!

Если вслушаться, нас призывают уничтожить в себе авторитарный режим, который сделал нас всех рабами, но который мы, похоже, и сами заслужили. Такова главная идея фильма «Убить дракона», идея в общем не бесполезная.

Но я ношу свитер, а не судейскую мантию, и мое дело — не копаться в авторских замыслах, а разобрать результат. Это следует подчеркнуть потому, что в нынешней ситуации, когда перестроечное «алиби» есть у всех, даже самые благие намерения мало что говорят об исходе дела.

Фильм Марка Захарова сделан по пьесе Е. Шварца «Дракон», лирической и злейшей сказке о борьбе любви с тиранией, о природе свободы и власти, сказке, основанной на романтической вере в то, что рабами не рождаются, а, следовательно, не всегда умирают. Сказка была написана в 1943 году, выдана за исключительно антигитлеровский памфлет и все же тихо «уволена в запас».

М. Захаров вместе со своим постоянным соавтором Г. Гориним сказку переписал, сделав из нее пособие по перестройке в виде политического фарса с кафкиански-оружелловским оттенком и привкусом учебника по советской истории. Многоликий Дракон, который «навел порядок» и хочет, чтобы его считали «отцом родным», — это Сталин, не Пол Пот и не Гитлер, как его ни гримируй. Когда в неравном поднебесном бою его убивает бродячий рыцарь (досадный анахронизм), власть переходит к другому тирану, нежнейшему Президенту, который любит принимать поздравления по поводу победы над Драконом, водит дружбу с «народом» и пьет с палачом. Тут уже и Хрущев, и Брежнев (от каждого понемногу). От Хрущева — хитрая простоватость и мнимый либерализм, от Брежнева — застойная идеология и страсть к орденам. Все это разыграно с шумом и блеском, порой с неподдельным юмором и заканчивается исполненным риторического пафоса эпизодом, где рыцарь, вконец разочаровавшийся и покинувший рабское болото, встречает во поле стайку детишек, запускающих бумажного змея-дракона. Ими верховодит Дракон, перевоплотившийся в нормального Олега Янковского, то есть тот «дракон», что претендует на души наших детей. «Ну, теперь начнется!» — говорит он рыцарю. «Борьба впереди!» — вторит ему режиссер и не позволяет закрыть малышам глаза на предстоящую битву: гласность ведь!

Фильм можно читать, как газету: в нем все в тексте, и ничего — между строк. Но это, в конце концов, дело вкуса: я, например, не люблю, когда мне с экрана дают указания, как мне реагировать и что делать, выйдя из зала, а кто-то, может, только того и ждет. То, что авторы подменяют функции искусства чем-то совсем искусству не свойственным, — лишь одна сторона медали. По мне, так дело в другом: в почти детской, упоенной уверенности авторов в том, что благая цель оправдывает любые средства.

А средства до смешного просты и испытаны на «живом трупе» «застоя».

Нужно быть вегетарианцем, чтобы не знать, что у нас в магазинах нет колбасы, но когда со сцены или с экрана это подается как откровение, публика раздражается аплодисментами, а иногда и встает из уважения к гражданскому мужеству художников. Такова психология людей, годами приученных к молчаливому знанию и эзопову языку политических анекдотов.

Методы М. Захарова — точный слепок с этой модели. Фильмом правит Великая Аллюзия; она и в словах («Зима будет долгой», — говорит один из героев, напяливая на голову русскую шапку-ушанку), и в делах (ученые в кабинетах Дракона испускают бумагу рядами галочек, а Президент читает речь по бумажке и встречается с елживыми ветеранами), и даже во внешностях (Е. Леонов в роли Президента обнаруживает ошарашивающее сходство с Хрущевым). Подлинного мужества тут на грош, зато

путь к сердцу зрителя обеспечен, хоть и немалой ценой: реальной боли и правды, которую социально-политическая аллюзионность подменяет полуправдой, недо-правдой, знаком. Можно ли считать смелостью «смелость», понимающе подмигивающую зрителю! Я, возможно, и не смелее создателей фильма, но после просмотра подумал (если не проговорил): «Сограждане, вами по-прежнему манипулируют!»

НОВЫЙ ЛИК ВЕЧНОГО РЕМЕСЛА

Не знаю, как в биологии, но в искусствоведении методов анализа мимикрии практически не существует, а между тем в искусстве, как и в природе, с мимикрией полный порядок. Однако было бы по меньшей мере удивительно, если бы биолог призывал к уничтожению мимикрирующих организмов. Так не странно ли было бы мне, нормальному, кажется, человеку, призывать к запрету, ostrакизму, гонению! И все же, преодолевая стыд и бессилие, я вынужден прибегнуть к печально-знакомому: «Будьте бдительны!»

То, что наше общество лишь недавно «легализовало» проституцию, вовсе не отменяет эпитета проституции — «вечное ремесло». В искусстве то же: ловкачи были всегда и всегда найдутся, и не стоило бы изводить на это бумагу, если бы не новые обстоятельства, не будь которых, я бы никогда не построил Н. Михалкова, Ю. Кару и М. Захарова в одну шеренгу, да и вообще не взялся бы за эту статью.

Раньше конъюнктурность заключалась в мнимом оплодотворении мнимого: в воспевании ложных ценностей, фиктивной реальности, несуществующей свободы. Распознать ее ничего не стоило — достаточно было выйти на улицу или послушать «Голос Америки».

Теперь поляризация видимости и сущности не так актуальна, и конъюнктура переключилась на сущности — на ценности подлинные, на подлинную боль. В этом-то и загвоздка: как распознать ТАКОЕ!

Чем важнее предмет разговора (а что может быть важнее судьбы!), тем труднее установить критерий искренности и истины. Нелегко усомниться в честности того, кто вещает о правде. Кто же станет уличать во лжи гадалку, обещающую удачу, даже если подозревает, что рука у нее нечиста! Да и как это сделать преодолевшему страх: на глаз-то все гладко!!

Критичность положения критикка, замахивающегося на того, у кого на устах «правильные слова», а меж зубов посвистывает «свежий ветер перемен», в том, что он рискует автоматически попасть в лагерь «регрессистов» и «запретителей»: «Ах, он против обличения наших пороков, против изображения секса (и т. п. — перестроечный список «клубнички» богаче «застойного») — значит, он против гласности, нового мышления!»

Но разве наша многогрешная биография не вопиет о том, что в делах общественных, политических МИФОЛОГИЗАЦИЯ живого — один из способов его убийства! Культы личностей нашего века, начинавшие с такой мифологизации (недаром же Сталин первым делом мифологизировал Ленина), а потом себя отливавшие в бронзу, только подтверждают общее правило. Мифологизация социализма обернулась глубокой комой. Перед лицом такой же беды стоит перестройка. Ибо социальная мифологизация — или мумификация — состоит в отчуждении внешности от плоти, в превращении сущности в знак.

А занимаются этим совсем не обязательно те, кого именуют «врагами перестройки» — сталинисты, ретрограды, консерваторы и пр. Ибо конъюнктура изменилась, но остались прежними ее суть и основа: подобострастие господствующему мнению и, в конечном счете, НЕСВОБОДА — недуг, от которого далеко еще не оправилось наше общество, от которого все мы — «дети переходя» — уходим и пока никак не можем уйти...





С. Л. ФРАНК

Обращение к богатому наследию русских мыслителей является сейчас одной из самых насущных задач. В то время, как мы с подъемом и энтузиазмом занимались построением социализма, наши философы и государствоведы, сохраняя лучшие и плодотворнейшие традиции русской науки и внимательно следя за ходом жизни в Советской России (в подавляющем большинстве из-за рубежа, по милости советской власти), осмысливали катастрофические пути русской истории и разрабатывали основы — государственные, правовые, но прежде всего религиозные и нравственные — строительства России будущей. В том, что Россия возродится из пепла и, пройдя через очистительный огонь, придет к новой жизни, — в этом не сомневался никто из наших философов, хотя они видели это возрождение по-разному. Все кровавые ужасы революции и «мирного» террора должны были служить очищению и покаянию русского народа, и в этом очищении народ должен возродиться к новому государственному бытию и, главное, к новому государственному мышлению. Один из самых глубоких русских философов И. А. Ильин приводил для характеристики этого процесса возрождения к новой жизни через очищение страданиями строки Пушкина:

Но в искушениях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Большинство русских мыслителей были или изгнаны из страны в 1918—1922 гг., или погибли от машины репрессий. Родина в неоплатном долгу перед ними, и первым необходимым шагом в искуплении вины перед выдающимися сынами России, которые на весь мир прославили свою родину, должно быть восстановление их наследия на родине. Русские мыслители нашего века верили в то, что их труды не останутся для России неизвестными, что они будут необходимы новой России, что слово их будет

звучать на родине. Только эта вера давала им силы продолжать свое дело. И наш долг сейчас состоит в том, чтобы восстановить наследие русских мыслителей, но восстановить честно, т. е. в виде полных собраний сочинений (с публикацией рукописных материалов — черновиков, набросков, писем, дневников), полных библиографий их трудов. Ведь это наше, родное, это — духовная история России.

Но и этого мало. Нам нужны не только вершины русской мысли, но полная картина ее развития. Без знания всего наследия мы не поймем самих себя. Да простит меня читатель, но я хочу привести хотя бы их имена, чтобы можно было увидеть их вместе, в одном славном ряду... Н. Алексеев, Н. Арсеньев, А. Аскольдов, Н. Бердяев, о. С. Булгаков, М. Бахтин, А. Введенский, В. Вернадский, С. Верховский, Б. Вышеславцев, С. Гессен, прот. В. Зеньковский, Л. Зандер, И. Ильин, В. Ильин, Л. Карсавин, И. Лапшин, Л. Лопатин, В. Лосский, Н. Лосский, А. Лосев, С. Левицкий, Д. Мережковский, В. Несмелов, П. Новгородцев, А. Позов, В. Розанов, П. Струве, Ф. Степун, В. Сцилкарский, кн. С. и Е. Трубецкие, С. Франк, Г. Федотов, о. П. Флоренский, прот. Г. Флоровский, Г. Челпанов, Д. Чижевский, Л. Шестов, Г. Шпет, В. Эрн, Б. Яковенко и мн. др. Вслушайтесь в эти имена, они — слава и гордость нашего Отечества! И за каждым из них стоит своя тема, свой голос, своя традиция и свои связи.

Семен Людвигович Франк по праву входит в элиту русской религиозной философии XX века. Он родился в Москве в 1877 году, закончил юридический факультет Московского университета и затем продолжал образование в университетах Берлина и Гейдельберга, где занимался философией и социологией. В 1890-х годах вместе с Н. Бердяевым, С. Булгаковым и П. Струве входил в группу так наз. «легальных марксистов». Но вскоре Франк приходит к выводу, что действительное философское творчество возможно только на почве идеализма, и в 1902 г. становится одним из авторов нашумевшего сборника «Проблемы идеализма». В 1900-х годах сотрудничает в журналах «Новый Путь» и «Вопросы Жизни», вокруг которых оформлялся как течение Русский духовный ренессанс.

Революция 1905 года потрясла Франка разгулом насилия и жестокости, и он начинает понимать, что революционный путь проходит мимо человека и потому бесчеловечен. Именно революция 1905 года привела Франка, как и многих других русских философов, к осознанию порочности интеллигентской веры в народ или пролетариат. Франк становится на путь преодоления в себе (прежде всего в себе) интеллигентских соблазнов революционности и социального реформаторства, ищет новые ответы на старые вопросы. Этапами на этом пути стали статьи «Этика нигилизма» («Вехи», М., 1909) и «De profundis» («Из глубины», М., 1918). Но тема эта будет волновать Франка на протяжении всей жизни, и одним из последних опытов ее осмысления является публикуемая статья «Ересь утопизма».

В 1910-х годах Франк формулирует основные положения своей философской системы и выпускает один из центральных своих трудов «Предмет знания» (СПб., 1915), в котором строит в духе интуитивизма Н. О. Лосского «онтологическую гносеологию». В 1917 г. выходит в свет другая важная работа философа — «Душа человека», где Франк основные положения своей философии распространяет на проблемы психологии. (Эти две книги задумывались Франком как две части трилогии. Третья часть — «Духовные основы общества» — выпущена Франком в эмиграции и посвящена проблемам социальной философии).

Первые послереволюционные годы были для Франка периодом особенной творческой активности. В 1917 году Франк становится профессором сначала Саратовского (1917—1921), а потом Московского (с 1921) университетов; в Саратове он создает Философско-историческое общество, а после переезда в Москву участвует в созданной Н. Бердяевым Вольной Академии духовной культуры, где читает курс «Введение в философию» и принимает участие во многих обсуждениях и дискуссиях. Осенью 1922 г.

С. Л. Франк, вместе со многими другими философами и учеными, высылается советской властью из России. Все эти мыслители так и не вернулись на родину («вернулся» только Л. Карсавин, который был профессором Каунасского, а затем Вильнюсского университетов, но после захвата Литвы Советским Союзом был арестован и умер в лагере в Коми АССР). В эмиграции Франк жил сначала в Германии, а после установления там фашистского режима — во Франции; выпустил в Берлине и в Париже множество трудов по философии, психологии и социологии, в которых окончательно оформились его взгляды. После второй мировой войны философ переехал в Англию, где и умер в 1950 году.

В центре всех размышлений Франка над вопросами социальными и политическими стоит проблема русской революции, ее истоков и религиозного смысла. Тому много причин. Революция сыграла определяющую и притом катастрофическую роль в судьбе самого Франка, России, но вместе с тем и в судьбах целых народов, всего человечества, заставив их во многом под иным углом зрения взглянуть как на историю цивилизации и ее ценностей, так и на самих себя и своё место в истории.

Как и большинство русских философов нашего века, Франк считал себя непосредственно ответственным за осмысление опыта русской революции, поскольку был убежден, что эта революция, как любое другое крупное историческое событие, «есть явление чисто национальное, определяемое своеобразием национальной истории и национального характера и мировоззрения», т. е. именно русская революция.

Но Франк видел и другую сторону русской революции, в силу которой «она есть явление мирового и общечеловеческого

характера». И это признание всемирного значения революции только обостряло чувство ответственности, которое ощущали на себе русские мыслители. «Русская смута, — писал Франк в 1924 г., — есть смута общеевропейская, и мы, русские, переживавшие и осмыслившие ее, в известной степени чувствуем себя теперь экспертами и призванными диагностами Европы». В русской революции, по Франку, «подведен итог более чем четырехвековому духовно-историческому движению западного человека», причем «подведен катастрофически, продемонстрирован воочию с потрясающей силой; и потому из России, по-видимому, этому итогу суждено действительно повлиять на дальнейшее развитие человечества». В этих двух аспектах Франк рассматривал русскую революцию: как национальную, определяемую своеобразным складом русской души, и мировую, как последнюю ступень в восхождении гуманистической западноевропейской цивилизации.

Здесь не место анализировать социально-политические взгляды Франка, т. к. для этого трубаются специальные исследования. Поэтому я ограничусь сказанным и лишь приведу в предварение статьи самого Франка глубокую мысль Э.-Т.-А. Гофмана из «Дон-Жуана»:

«Но таково несчастное последствие грехопадения, что враг получил силу подстергать человека и ставить ему злые ловушки даже в его стремлении к высшему, в котором сказывается его божественная природа. Это столкновение божественных и демонических сил обуславливает понятие земной жизни, точно так же, как одержанная победа — понятие жизни неземной».

СЕМЕН ЛЮДВИГОВИЧ ФРАНК

ЕРЕСЬ УТОПИЗМА

Согласно известному античному убеждению, всякая человеческая гордыня или заносчивость (*hybris*), всякое дерзновенное своеволие, в силу которого человек нарушает естественный порядок вещей и притязает на место и значение, ему не свойственное, — роковым образом карается. Кара имманентно предопределена здесь самим существом преступного замысла. Ибо при всей естественности человеческих стремлений к счастью, свободе, могуществу — эти стремления, как только они выходят за известные пределы и, становясь безмерными, перестают считаться с предустановленной божественно-космическими законами ограниченностью человеческих возможностей, — уже сами суть безумие, овладевающее человеком и неизбежно влекущее его к гибели.

Это античное убеждение принадлежит к числу великих, вечных истин, завещанных человечеству греческой религиозно-нравственной мыслью. Его подтверждает и простой жизненный опыт, и ему не трудно найти более глубокое обоснование в христианском религиозном непонимании. Пережитая нами мировая война, со всеми ее, превышающими человеческое воображение, злодеяниями и страданиями, есть по всему ходу ее событий классический образец трагедии, построенной на этом античном и вечном мотиве. Трагедия эта разыгралась, — или, скорее, доселе разыгрывается, ибо последний акт или эпилог ее еще не окончен — в неслыханно-

огромном, подлинно мировом масштабе. Если ее зачинатели и протагонисты суть немногие безумцы и злодеи, то ее соучастники и жертвы исчисляются миллионами, и внесенное ею потрясение охватило едва ли не все человечество.

Как ни поучительна эта мировая трагедия, смысл ее настолько прост и очевиден, что не нуждается ни в каком более сложном размышлении. Демонизм безграничного властолюбия, не считающегося в своих замыслах и средствах с самыми элементарными нравственными законами, обнаружился как безумие, губительное для самих преступников не менее, чем для их жертв.

Что злая и преступная воля есть, по крайней мере за известными пределами, воля безумная и именно поэтому губительная — это в некотором смысле понятно само собой. Более глубокая и трудная проблематика содержится в другой, родственной теме, которая не нашла открытого выражения в указанной античной идее. Дело в том, что и воля в основе своей благая — воля, руководимая не личной корыстью или похотью, а нравственным мотивом любви к людям, стремления спасти их от страданий и неправды и утвердить праведный порядок жизни — может так же, сочетаясь с безмерностью и дерзновенным своеволием, оказаться волей безумной и в своем безумии вырождаться в волю преступную и губительную. Мы имеем в виду то устремление мысли и воли, которое можно

назвать общим именем утопизм. Под утопизмом мы разумеем не общую мечту об осуществлении совершенной жизни на земле, свободной от зла и страдания, а более специфический замысел, согласно которому совершенство жизни может — а потому и должно быть как бы автоматически обеспечено неким общественным порядком или организационным устройством; другими словами, это есть замысел спасения мира устрояющей самочинной волей человека¹. В этом качестве утопизм есть типический образец ереси в точном и правом смысле этого понятия — именно такого искажения религиозной истины, которое увлекает человека на ложный и потому губительный путь. Цель, которая здесь ставится, невозможна не просто потому, что никакой идеал не осуществим в его абсолютной полноте и чистоте; она невозможна, потому что содержит в себе, как мы постараемся показать ниже, внутреннее противоречие. Пока этот замысел остается только мечтой — как в «утопиях» Платона, Кампанеллы и Томаса Мора, — его внутренняя противоречивость, и потому ложность и губительность самого стремления к нему, остаются скрытыми. Они обнаруживаются только на практике, когда этот идеал овладевает волей, т. е. делается попытка осуществить его в согласии с самим его содержанием, именно мерами внешне-организационными, т. е. через принудительное водительство человеческим поведением; и именно тогда обли-

чается нравственное безумие, т. е. порочность самой устрояющей воли, первоначально руководимой благим побуждением.²

Именно в таком качестве практического политического движения ересь утопизма возникла впервые, по крайней мере в широком масштабе, в связи с реформационным движением, как типически христианская ересь — у чешских «таборитов» и в таких явлениях немецкой реформации, как крестьянская война, движение Томаса Мюнцера и анабаптизм, которые все были замыслом принудительного общественного осуществления евангельского совершенства. В секуляризованной форме эта ересь воплотилась сперва в якобинстве, а потом — в революционном социализме, который в наше время, в лице русского большевизма, овладел жизнью многомиллионного народа и тем получил неопровержимо убедительную опытную проверку.³

Прежде чем попытаться теоретически анализировать ересь утопизма и вскрыть общие источники ее заблуждения, отметим простой бесспорный исторический факт. Не только утопизм никогда не достигал на практике поставленной им цели, т. е. ему не удавалось осуществить порядок, обеспечивающий нравственное совершенство жизни, но на пути своего осуществления он приводил к результатам прямо противоположным: вместо искомого царства добра и правды он вел к господству неправды, насилия и злодейств; вместо желанного избавления человеческой жизни от страданий он приводил к безмерному их умножению. Можно сказать, что никакие злодеи и преступники не натворили в мире столько зла, но пролили столько человеческой крови, как люди, хотевшие быть спасителями человечества. Пожалуй, единственное исключение из этого общего положения есть зло, причиненное в наше время демонизмом национал-социализма и фашизма; но при этом не надо забывать, что и этот демонизм мог соблазнить массы и обрести мировой размах только потому, что в нем исконно злая воля облекалась также в видимость мессианского движения спасения мира (не то от коммунизма, не то от «иудео-плутократического» морального разложения).

Но и этого мало. Самое разительное и парадоксальное в судьбе утопизма есть то, что не только фактически, вопреки первоначальному замыслу, он всегда приводил не к добру, а к злу, не спасал, а губил жизнь, но что на этом пути сами спасители человечества из самоотверженных служителей блага, каким-то непонятным и неожиданным образом, превращались в бессовестных злодеев и кровожадных тиранов. Утопические движения всегда начинаются людьми самоотверженными, горящими любовью к людям, готовыми отдать свою жизнь за благо ближних; такие люди не только кажутся святыми, но в известной мере действительно причастны, хотя и в какой-то искаженной форме, святости.⁴ Постепенно, однако, и именно по мере приближения к практическому осуществлению своей заветной цели, они либо сами

превращаются в людей, одержимых дьявольской силой зла, либо уступают свое место злодеям и развращенным властолюбцам, имеют их своими естественными преемниками. Таков парадоксальный роковой ход всех революций, руководимых утопическим замыслом утвердить абсолютно совершенный порядок жизни. Посередине этого пути от святости к сатанизму стоит, как бы воплощая в себе всю дьявольскую парадоксальность этой нравственной диалектики, жуткий, загадочный тип аскетического и добродетельного в личной жизни кровопийцы, вроде Робеспьера и Дзержинского.

В истории русской мысли есть один любопытнейший образец этой диалектики, как она совершается в плане развития чистой идеи, вне всякого воздействия конкретной жизни в порядке практического ее осуществления; и именно поэтому этот образец особенно поучителен. Мы имеем в виду идейное развитие Белинского с момента, когда он, порвав с гегельянством, был охвачен пафосом скорби о земной неправде и стремления к нравственному оздоровлению общественной жизни. В известном письме, возвещающем разрыв с гегельянством, он заявляет, что «судьба субъекта, индивидуума, личности, важнее судеб всего мира... т. е. гегелевской *Allgemeinheit**»; он утверждает, что никакая мировая гармония не удовлетворит его, если он не сможет разделить ее с каждым из его «братьев по крови»; что, даже достигнув «верхней ступени лестницы развития», он потребует отчета «во всех жертвах условий жизни и истории», и иначе бросится сам вниз головой с этой «верхней ступени».** Весь выраженный здесь страстный упор нравственной воли направлен на благо личности, на конкретные нужды живых людей; перед лицом абсолютной ценности каждой конкретной человеческой личности теряют силу все интересы общего развития человечества, грядущего осуществления общих ценностей жизни. Мы имеем здесь предвосхищение знаменитой формулы Достоевского, вложенной в уста Ивана Карамазова: «высшая гармония не стоит слезинки хотя бы одного только замученного ребенка». Именно на этом пути заботы о благе каждой человеческой личности Белинский становится страстным приверженцем социализма. И вот, это увлечение программой социалистического устройства жизни становится в душе Белинского столь всеобъемлющим, что тотчас же приводит его к жуткой формуле, совершенно опрокидывающей исходную мысль этого нравственного устремления: «Если для утверждения социальности (т. е. социализма) нужна тысяча голов, — я требую тысячи голов». И Герцен рассказывает, как Белинский, с горящими фанатизмом глазами, проповедовал необходимость гильотины. Так именно, из страстной любви к живым людям и их конкретной судьбе, рождается беспощадная жестокость к ним же, поскольку они считаются помехой при осуществлении порядка, должен-

ствующего обеспечить их же благо. Этот, в каком-то смысле и психологически естественный, и логически последовательный, ход идей приводит, таким образом, к вопиющему нравственному противоречию; и здесь, как в лабораторном препарате, в идеально-чистой форме явлено то развитие, которое уже на наших глазах превратило самоотверженных русских народолюбцев в палачей — чеккистов; что при конкретном осуществлении этого хода идей «тысячи голов» возрастают до неисчислимого количества, до сотен тысяч или миллионов голов — уже не составляет никакого принципиального различия.

Легко отмахнуться от этого жуткого парадокса дешевым соображением, что фанатическая страсть способна нравственно ослеплять, омрачать жесткостью самые чистые и благородные побуждения. Это вполне верно фактически, но есть только смутная словесная формула, ничего не объясняющая по существу. Этическая мысль требует ясного анализа самой объективной диалектики идей, приводящей к такому жуткому противоречию. Эта диалектика, очевидно, опирается на какие-то предпосылки, ложность которых есть источник порочности ее вывода.

Первое, ближайшее объяснение заблуждения утопизма состоит в том, что он есть замысел «спасти» мир, т. е. истребить в нем зло и неправду и утвердить безраздельное господство добра с помощью реформы порядка или устройства жизни. Порядок есть совокупность отношений между людьми, обеспеченных законом, т. е. принудительными общими нормами. Но этот замысел противоречит самому существу закона. В деле борьбы со злом и нравственного совершенствования жизни надо отчетливо различать между двумя совершенно различными задачами: задачей внешнего обуздания зла, ограждения жизни от его губительного действия, — и задачей сущностного искоренения или преодоления зла, совпадающей с задачей органического взращивания сил добра. Так как и добро, и зло суть по существу силы порядка духовного, то и взращивание добра, и сущностное искоренение зла возможны только в порядке духовного действия изнутри на человеческую волю или на душевный строй личности, т. е. в порядке духовного воспитания, которое мыслимо только в стихии свободы и есть в конечном счете свободное самовоспитание — свободное восприятие и внедрение в душу благодатных сил, под действием которых зло как бы само собой рассеивается, исчезает, как тьма перед лучом света. Наоборот, никакое принуждение, никакой закон, который есть всегда приказ или запрещение, никакие, да же самые суровые кары не могут сущностно уничтожить ни атома зла, сущностно взрастить ни атома добра. В этом смысле толстовская критика государства и вообще борьбы со злом с помощью внешней силы совершенна не права. Из этого, правда, совсем не следует толстовский вывод о ненужности и зловредности государственной но-правовой борьбы со злом: ибо не уничтожая сущности зла, закон, правовой порядок, действующий через

* Всеобщность (нем.).

** Письмо В. П. Боткину, 1 III, 1841 (прим. С. Л. Франка)

принуждение, как указано, просто обуздывает его, ограждает от него жизнь, — что есть, конечно, задача необходимая и благотворная. Если укротить насильника и злодея, воспрепятствовать его злему делу, есть нечто совсем иное, чем сделать его добрым и исцелить от зла, то в этом все же есть разумная и праведная функция охранения жизни от вреда, причиняемого злым действием. Вопреки толстовскому и всяческому религиозному анархизму или политическому индифферентизму, благотворность в этом смысле разумного и справедливой порядка, принудительно охраняющего жизнь от зла и неправды, есть самоочевидная истина, которой нет надобности доказывать.⁵

Однако, перед лицом замысла утопии нужно не упускать из вида обратной, только что упомянутой, стороны дела. Пределы благотворности какого-либо общественного порядка суть пределы благотворности принуждения. Никогда не следует забывать того простого факта, что самые справедливые и возвышенные по своему замыслу социальные и политические реформы конкретно исполняются агентами исполнительной власти, т. е. в конечном счете полицией. Задача же полиции, по меткой формуле героя Глеба Успенского, состоит в том, чтобы «тащить и не пущать» — дело, как указано, необходимое для жизни и в определенных пределах требуемое нравственным сознанием, но столь же очевидно не способное «спасти мир», т. е. утвердить в нем нравственное совершенство или полноту счастья. Отсюда явствует, что утопизм, уповающий на осуществимость полноты добра через общественный порядок, имеет имманентную тенденцию к деспотизму — со всем, что есть злого и губительного в деспотизме. Это есть основное — одновременно и моральное, и социологическое — возражение против интегрального социализма. Поскольку под социализмом разумеется только общую идею необходимости и нравственно-принудительных мер против эксплуатации бедных богатыми, слабыми — сильными или вообще против бедствий хозяйственной «анархии», проистекающих от хаотического столкновения корыстных воль, — он есть идея правомерная и бесспорная. Но поскольку под ним разумеется замысел подчинить всю хозяйственную жизнь, все социальные отношения между людьми государственной власти — построить всю социально-экономическую жизнь планомерно с помощью государственного принуждения, он вырождается в замысел деспотизма:⁶ нравственно возродить жизнь методами «тащить и не пущать». Он упускает при этом из виду, что жизнь не есть искусственное, рациональное построение, а органическое творчество — в том числе и нравственное — совершается только в стихии свободы, и что поэтому всякое подавление свободы парализует жизнь и, тем самым, силы добра, вне действия которых невозможно никакое совершенствование жизни. Из сказанного явствует, что дело тут не в каком-либо заблуждении в содер-

жании социально-политической программы интегрального государственного социализма, а в общем социально-философском — в конечном счете религиозно-философском — заблуждении утопизма, как такового, только частным случаем которого является социалистическая утопия. Исходя из совершенно правильного сознания, что при несовершенстве человеческой природы, свобода не только не обеспечивает разумной и справедливой жизни, а напротив, фактически есть в весьма значительной мере свобода зла и неразумия, утопизм есть замысел в корне пресечь эту опасность через планомерное принудительное водительство общественной жизни единой направляющей разумной волей к добру. В сущности, именно в этом состоит чисто философская идея тоталитаризма (если оставить в стороне преступные и корыстные цели, фактически к нему примешивающиеся и в нем соучаствующие), как она была впервые выражена в бессмертной морально-политической утопии Платона.*

Но этим, как указано, безмерно преувеличивается, как бы перенапрягается и тем искажается нормальная функция планомерного принудительного нормирования человеческой жизни — функция закона, который может только ограничивать произвол в его наиболее вредных для жизни проявлениях, но никак не может устранить основоположный факт общего несовершенства и греховности человеческой природы. Свобода, как стихия иррациональности, неизбежно включающая в себя зло и неразумие, в известном смысле совпадая с самим существом жизни, оказывается сильнее всякой попытки ее уничтожить. Загнанная внутрь, лишенная возможности открытого, явно воспринимаемого, беспрепятственного обнаружения, она находит множество неожиданных, непредусмотренных законом путей и каналов для своего как бы подземного действия. Это неизбежно сказывается в двух отношениях. Во-первых, замысел уничтожить зло принудительным нормированием жизни, даже поскольку он действительно руководим благой и разумной волей, фактически не достигает своей цели. Создается болезненное, отравляющее жизнь противоречие между только видимой благопристойностью и упорядоченностью жизни, как ее поверхностным наружным слоем, и ее внутренней хаотичностью и порочностью. И, с другой стороны, сами водители жизни, должностные своей разумной и благой волей преодолеть ее злое неразумие, фактически, как люди, полны того же несовершенства человеческой природы, которое они призваны преодолеть: злую и неразумную человеческую волю направляет и обуздывает не какая-либо высшая, более совершенная инстанция, а — в лице руководителей — та же самая

человеческая воля, полная зла и неразумия. Получается безвыходный порочный круг. Более того: свобода, будучи стихией иррациональной, — стихией, допускающей зло и неразумие — есть вместе с тем стихия рождения и действия добра и разума, т. е. единственная возможность самоисправления, совершенствования жизни. Преодоление зла и неразумия возможно только в форме свободного самовоспитания и самопреодоления человека, свободной внутренней победы в человеке высшего, лучшего над низшим и худшим. Где замысел внешнего, принудительного совершенствования жизни устраняет эту возможность, там фактически не только не достигается совершенство, а, напротив, иррациональность и порочность, присущие человеку, расцветают махровым цветом.

Ересь утопизма можно, таким образом, ближайшим образом определить, как искажение христианской идеи спасения мира через замысел осуществить это спасение принудительной силой закона. Поскольку идея закона есть руководящая идея ветхозаветной религии, ересь утопизма оказывается искажением христианского сознания в направлении ветхозаветных представлений. Правда, в самом Ветхом Завете закон отнюдь не мыслится средством спасения мира. Он есть только средство «спасения» человека в смысле его оправданности перед Богом; при этом под законом разумеется, конечно, не закон государственный, а закон как безусловное религиозное веление — то, что мы теперь (оставляя в стороне ритуальный закон) назвали бы законом нравственным. Известна критика ап. Павлом этого понимания закона — критика, которую впервые была отчетливо разъяснена христианская идея спасения: закон, будучи коррективом греха, есть его коррелят и последствие, и именно поэтому, внешне обуздывая грех, не может сущностно преодолеть его и привести к спасению. Значение этой гениальной религиозной интуиции ап. Павла для нашей темы обнаруживается, если учесть естественную тенденцию закона в ветхозаветном смысле превратиться в закон принудительно-государственный. Будучи выражением Божьей воли, закон имеет безусловную обязательность: правда должна быть осуществляема при всех условиях, ее нарушение должно быть обуздываемо. Если эта имманентная принудительность закона ближайшим образом конкретно выражается в давлении на личность нравственного суда общественного мнения, то нравственная воля общества осознает себя вправе и даже обязанной утверждать правду и средствами государственного принуждения. Религия закона неизбежно и естественно воплощается в принудительной теократии. В истории христианства этот ход идей обнаруживается всюду, где в нем проступают ветхозаветные тенденции, например в кальвинизме (женевская принудительная теократия Кальвина и соответствующие явления английской пуританской революции). Закон, правда, мыслится здесь не как спасение мира, а как средство обуздания греха и тем самым, в порядке общих усло-

* Что эта идея лежит в основе и социализма — это совершенно ясно видно из его первой исторической формы в сенсимонизме, основной пафос которого состоял именно в обличении свободы, как стихии зла и неразумия. (Прим. С. Л. Франка)

вий мирового бытия, как средство охранения мира от разрушительных сил греха, т. е. как условие устойчивости и равновесия мировой жизни, потрясенной грехопадением. Но поскольку в утопии возникает идея спасения мира через утверждение в нем праведного порядка или закона, ветхозаветная идея теократии принимает в нем характер спасения мира через государственное принуждение. Значение такого рода — искаженных — ветхозаветных представлений в утопии явственно в типах утопии эпохи Реформации. Враги Божьего закона рассматриваются как безбожные «амалекитяне и филистимляне», подлежащие беспощадному истреблению (постоянный лозунг религиозного фанатизма в эту эпоху); характерно, что на этом пути «табориты» кончают прямым отречением от христианства и возвращаются к ветхозаветной вере. Самый яркий и в нашей связи поучительный образ этого умонастроения есть попытка анабаптистов в Мюнстере принудительно осуществить христианский идеал имущественной общности: закон предписывал, чтобы двери домов оставались открытыми днем и ночью; всякий мог брать пшеницу, что он хотел; нарушители закона беспощадно карались смертной казнью. Это есть образец примитивного, мотивированного христианским идеалом совершенства, принудительного социализма, неизбежно поддерживаемого террором — кажется, исторически первый опыт большевизма.

Но это понимание ереси утопии, как искажения христианской идеи спасения в направлении ветхозаветной теократии, само по себе еще недостаточно. Нужно еще уяснить предпосылки, в силу которых становится возможным само это искажение. Дело в том, что ни в Новом, ни в Ветхом Завете, как таковых, не содержится ничего, что могло бы быть источником этого искажения. Как уже указано, при всем преувеличении религиозного значения закона, как богоустановленной принудительной нормы поведения, ветхозаветное представление никогда не усматривало в законе средства спасения мира в смысле установления в нем абсолютного совершенства. С другой стороны, благая весть Нового Завета о спасении мира и преодолении в нем греха мыслит это спасение принципиально в порядке надмирном. В пределах нынешнего мирового зона это спасение состоит в освобождении человеческой души от подвластности греховному миру через открытие ей доступа к «Царству небесному», как ее вечному достоянию; в силу этого спасение, как полнота блаженства и возможность духовного совершенства, мыслится совместимым с бытием в несовершенном мире, исполненном греха и страдания. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: я победил мир» (Ев. Иоан. 16, 33). Эта сущностная победа над грехом и, тем самым, принципиальное, еще незримо преодоление греховного зона мирового бытия должно завершиться преобразованием его в «Царство Божие», но это преобразование совпадает уже с «концом» этого мира. И первое, и второе спасение одинаково, хотя и

в разных формах, означают выход за пределы «этого мира», имеют в виду «царство не от мира сего» и потому не только не содержат, но прямо отвергают мысль о возможности совершенства и полноты блаженства в пределах — как бы в категориальных условиях — привычного, «этого» мирового бытия.⁷

Единственный религиозный мотив в составе Священного Писания и вообще исконной религиозной традиции, в котором можно было бы усмотреть опорную точку для утопии, есть апокалиптическое чаяние «нового неба и новой земли», «нового творения» (идея, которая сама восходит к упованиям ветхозаветных пророков — ср. Исая, 11 и 67, 11—25); и утопизм часто принято сближать с этой апокалиптической верой. Не следует, однако, при этом упускать из вида и существующее, можно сказать, решающее различие между ними. Преображенный, совершенный мир — «новое небо и новая земля» — мыслится в апокалиптической вере именно как «новое творение», т. е. как бы второй, завершающий акт сотворения мира. Подобно первому сотворению мира, это есть чудесный акт творческой Божьей воли, превосходящий человеческое разумение и тем более выходящий далеко за пределы всего доступного умышленной, устрояющей воле человека. И — по крайней мере в новозаветном Апокалипсисе — это новое творение отчетливо отделено от старого — от нынешнего мирового зона — страшным судом, в котором конечное торжество всемогущей правды Божьей, истребляющей всю земную неправду, полагает конец и всему «этому миру». Напротив, утопизм мыслит «новое творение» делом именно устрояющей человеческой воли, руководимой замыслом утвердить абсолютную правду, «царство Божие» на земле, т. е. в категориальных условиях «этого мира».

Подлинный и последний идейный источник утопии есть совершенно новая — по сравнению со всем кругом ветхозаветных и новозаветных представлений — религиозная идея (некоторую аналогию которой можно найти только в гностицизме 2-го века). Это есть мысль, что мировое зло и страдание определены не вошедшей в мир, исказившей совершенное Божие творение и в пределах мира неустранимой, таинственной силой греха, а неправильным устройством самого мира. К этому присоединяется другая мысль: человеческой воле, руководимой стремлением к абсолютной правде, дана возможность коренного переустройства мира — сотворения нового, осмысленного и праведного мира, взамен старого, неудачного и неправедного. Утопизм есть прежде всего отрицание догмата грехопадения. Ответственность за земную неправду он возлагает не на власть греха в мире, не на греховную человеческую волю, а на некие иные силы, повинные в неправильном и неправедном устройстве мира, — при полной последовательности мысли, на инстанции, сотворившую мир. Это есть восстание человеческой нравственной воли против Творца мира и против самого мира, как Его творения. Древние гностики учили, что мир

сотворен злым богом, и что Бог любви и правды, откровение которого принес Христос, есть совсем иной Бог, чем творец мира. Отсюда ближайшим образом следовало аскетическое бегство от мира, стремление избавиться от власти злого бога-творца через духовное причастие иному «далекому» Богу любви и правды. Немецкий богослов Гарнак (в своей книге о Маркионе) метко сближает учение Толстого с этим древним религиозным направлением. Не случайно, однако, в Толстом аскет сочетается с революционером; бегство от мира, отрицание красоты, эротики, культуры — всех духовных сил, связанных с жизнью в мире и с признанием положительной религиозной ценности космоса, восполняется мечтой о возможности совершенной жизни через подчинение новому порядку — тому, что можно было бы назвать уставом толстовской жизни. Правда, этот порядок праведной жизни мыслится добровольным, с отвержением всякого физического принуждения; и в этом — существенное отличие толстовства от утопизма. Но, как выше было указано, вера в законный порядок, как адекватное и всеобъемлющее выражение абсолютной Божьей правды, по существу уже содержит в себе нравственное требование его принудительного осуществления и неукоснительно приводит к идеалу принудительной теократии. Поскольку утверждение праведного порядка мыслится делом умышленной, устрояющей воли человека, принудительная теократия принимает характер принудительной богоборческой антропократии. Человек берет на себя самое дело устройства мира на новых, праведных основаниях; этот новый, праведный и разумный мир — творение устрояющей нравственной воли человека — отчетливо противопоставляется миру старому, исконному, исполненному зла и неразумия — миру, созданному некоей злой, слепой, хаотической силой. Именно в этом замысле построить совершенно новый мир, через принудительное утверждение в нем праведного порядка, и состоит существо утопизма. Не случайно, а совершенно естественно и с неумолимой последовательностью утопизм, будучи первоначально христианской ересью, именно в качестве идеи спасения мира через подчинение его праведному закону, превращается в богоборчество, в восстание человека против Бога — сохраняя при этом характер христианской ереси только в самой идее спасения или преобразования мира.

В этом существе утопии уже предопределена его судьба — та роковая диалектика вырождения добра в зло, констатирование которой было исходной точкой нашего размышления. Чтобы создать или сотворить новый мир, надо сначала разрушить старый. Ведь дело идет о том, чтобы создать мир именно заново. Подобно Богу, человек замышляет сотворить мир из ничего; но, не находясь в положении Бога, который впервые сотворил мир, он встречает препятствие для своего творческого замысла в лице уже существующего мира. Поэтому задача разрушения составляет для него интегральную часть его творче-

ской задачи; согласно знаменитому изречению Бакунина в его немецкой юношеской статье — этом философском манифесте революционного утопизма — «die Lust der Zerstörung ist auch eine schaffende Lust».* — Правда, по замыслу самого утопизма, разрушение старого мира должно быть только краткой подготовительной стадией, за которой должно следовать уже чисто созидательное дело построения нового мира. Но старый, исконный мир — мир грешный, неразумный и несовершенный — упорствует в своем бытии, сопротивляется своему разрушению. Это упорство представляется утопизму всегда чем-то непонятным, неожиданным, противоестественным, ибо противоречит его представлению об относительно легкой возможности построить новый мир. Оно рассматривается поэтому как некоторого рода случайная, частная помеха, приписывается какой-то извращенно-порочной воле; представляется естественным, что нормальные люди должны согласиться на план построения нового мира, обеспечивающий им «спасение», разумную и блаженную жизнь. Эта извращенная, порочная воля немногих должна быть подавлена и уничтожена; отсюда — требование «тысячи голов». Но этот старый мир, несмотря на всю свою порочность и дряхлость, на все свое несовершенство, все же имеет некое сверхчеловеческое происхождение — и потому некую для утопизма неожиданную прочность, о которой разбивается всякая чисто человеческая воля. Поэтому никакое устранение «тысячи голов» здесь помочь не может: взамен отрубленных голов у «гидры контрреволюции» вырастают тысячи — или скорее десятки и сотни тысяч — новых голов. Дело разрушения безнадежно затягивается, и на этом пути утопизм роковым образом увлекается на путь беспощадного и все более универсального террора. Именно поэтому благодетели человечества неизбежно становятся его угнетателями, мучителями и разрушителями. Спасаемые расплачиваются за слепоту спасителей, за ложность самого их замысла спасти мир новым его устройством, замысла, основанного на забвении истины о неустраимом никакими внешними человеческими мерами греховном несовершенстве мира. По меткому изречению Канта, «из того кривого дерева, из которого сделан человек, нельзя смастерить ничего совсем прямого». Посвящая все свои силы бесконечной, никогда не завершившейся задаче обуздания, подавления, разрушения исконных основ мирового бытия, спасители мира становятся его заклятыми врагами и постепенно подпадают под власть своего естественного водителя на этом пути — духа зла, ненависти, презрения к человеку. Богоборческая антропократия роковым образом вырождается в демонократию, которая ведет не к спасению мира, а к его гибели.

Мы предвидим естественное возражение. На первый взгляд легко может казаться, что все это рассуждение

несостоятельно, будучи основано на простой игре слов — на смешении «мира», как сферы общественной жизни человека, с понятием мира, как космоса. Никакие утописты, скажут нам, не собираются ведь изменить законы природы и сотворить космос на новых основаниях; они замышляют только создание нового, праведного социального устройства; а подтверждаемая историческим опытом изменчивость социального устройства вполне совместима с неизменностью космического строя бытия. Но это возражение лишь мнимо убедительно: оно проходит мимо самой существенной стороны проблемы. Лишь мимоходом укажем, что утопизм часто сам открыто признает себя мечтой о космическом преобразовании, как, например, в утопических фантазиях Фурье или в знаменитой формуле Маркса о «скачке из царства необходимости в царство свободы», указующей, что наступление социализма мыслится именно как совершенно новый зон вселенского бытия. В туманной форме утопизм вообще содержит веру, что преобразование социального устройства как-то должно обеспечить подлинное спасение, т. е. конец подвластности человека слепым силам природы и наступление нового, неомрачено-блаженного бытия. Гораздо существеннее, однако, для нас иная, более тонкая и глубокая связь, в которой обнаруживается имманентная необходимость для утопизма быть замыслом преобразования неких общих космических основ бытия.

Дело в том, что само устройство человеческой жизни — мир социальной жизни — в некоторых общих своих условиях (в пределах которых, конечно, возможны многообразные исторические вариации) есть выражение подчиненности человека силам космического порядка. Поскольку человек есть не чистый дух, а плотское существо, он в лице своей плоти и ее неизменных нужд и потребностей входит в состав «космоса» и подчинен его силам. Поэтому всякий умысел изменить эти общие условия, заменить их совершенно новыми, есть по существу — все равно, сознается ли это или нет — попытка преобразования космических основ человеческого бытия (обычно это, скорее, не сознается, ибо открытое сознание было бы равносильно осуждению утопизма). Возьмем для начала простой, совершенно элементарный и потому грубоватый пример. Принцип всеобщего равенства, в качестве нравственного требования, конечно, вполне правомерен и обязателен, будучи выражением уважения к святости каждой человеческой личности, признания ее богоподобия и богосынства. Но попытка утвердить реальное и безусловное равенство положения, возможностей и условий жизни всех людей равносильна попытке отменить универсальный и непреложный космический факт реального неравенства людей по их способностям, энергии, трудолюбию, как и столь же непреложный факт значения в жизни людей иррациональных случайностей. Можно и должно даровать женщинам «равноправие» с мужчинами, но совершенно невозможно отменить

глубочайшее, космически предопределенное различие в умственном и душевном складе, в жизненном «призвании» двух полов; и аналогичное соображение ставит роковой предел всем другим попыткам реального уравнения всех людей. Все они фактически означают замысел «космической революции», именно отмены универсального космического факта качественной и количественной дифференцированности бытия, т. е. его многообразия и его иерархической структуры.

Отсюда следует, что есть некие «законы», в смысле нормативно определенных порядков человеческой жизни, которые соответствуют подчиненности человека непреложным — в пределах «этого мира» — космическим условиям его бытия. В этом — смысл понятия «естественного права», выработанного уже античной мыслью и усвоенного христианской церковью в полном согласии с ее собственным религиозным сознанием. «Естественное право» не есть право, обеспечивающее совершенную и блаженную жизнь, не есть социальный порядок, сполна удовлетворяющий потребности человеческого духа. Напротив, оно естественно несовершенно, выражая общее несовершенство человеческой жизни в ее подчиненности силам космического порядка. Точнее говоря, естественное право есть максимально адекватное выражение нравственной и духовной природы человека в пределах ее подчиненности этим космическим силам. Так, моногамная семья есть форма, в которой нравственный дух человека упорядочивает космическую стихию пола. Так, государственная власть есть форма, в которой практически удовлетворяется нравственная потребность свободной и мирной солидарности перед лицом космического наличия враждебных, злых, анархических сил внутри и вне общезиятия; и именно в этом смысле государственная власть, по учению ап. Павла, установлена Богом (таков же, конечно, и естественно-правовой фундамент международного права, включая и еще неосуществленный замысел международного единства). Так, частная собственность, при всем многообразии ее конкретных форм и при всей необходимости ее ограничений в интересах человеческой солидарности, в самом своем принципе есть естественное условие свободной самодеятельности человека перед лицом космического факта «хозяйственной» нужды, т. е. зависимости человеческой жизни от обладания материальными благами.

Поэтому всякий замысел отменить или уничтожить эти общие формы человеческой жизни, отражающие ее подчиненность космическим силам земного бытия, заменить их совершенно иными формами, придуманными нравственной мыслью человека, есть выражение неправомерной, противоестественной гордыни человека, его титанического стремления собственными силами построить совершенно новый мир. Замысел этот не только фактически неосуществим, так как он разбивается о непреодолимое упорство мира, в котором обнаруживается его сверх-

* Стремление к разрушению есть также творческая страсть (нем.).

человеческое происхождение. Пре-вращаясь на пути своего практиче-ского осуществления в безнадежную, никогда не завершимую задачу раз-рушения мира, он фактически вы-рождается в процесс калечения, уро-дования естественных — и потому при данном состоянии человеческой природы морально необходимых — условий человеческой жизни. Задуманный для утверждения абсолютной Божьей правды на земле, утопизм в процессе своего осуществления пре-вращается в дело убийства — в пере-носном и прямом смысле слова — живого, конкретного, реального че-ловека, в уничтожение самой жизни и, тем самым, всякой возможности ее морального совершенствования.

Согласно глубокой и верной христи-анской идее, человек подчинен «ми-ру», т. е. космическим условиям своего бытия в меру своей собствен-ной греховности, т. е. своего внутрен-него несовершенства. Освобождение от этой зависимости возможно только в порядке внутреннего духовно-нравственного совершенствования че-ловека, а никак не через какие-либо внезапные, механически действующие перемены внешнего порядка

человеческой жизни. Дело совершен-ствования человеческой жизни есть дело свободного воспитания и само-воспитания человеческого духа, его внутреннего просветления благодат-ными силами. Общественные рефор-мы нужны и осмысленны только имен-но в этом же порядке, т. е. поскольку они создают лучшие условия для этого дела свободного внутреннего духовного перевоспитания человека; но для того, чтобы исполнить эту свою функцию, они должны считаться с реальным состоянием человека, а не быть замыслом насильственной его перемены.

В истории русской мысли XIX века есть, можно сказать, классический образец глубокого и нравственного ума, в результате трагического жиз-ненно-политического опыта дошед-шего до этого сознания — образец умственной и нравственной эволюции, прямо противоположный приведенной выше, внутренне-противоречивой диалектике идей Белинского. Герцен в «Письмах к старому товарищу», ко-торые могут почитаться его полити-ческим завещанием, говорит, крити-куя утопический замысел социальной революции: «Разрушь буржуазный

мир: из развалин, из моря крови — возникнет все тот же буржуазный мир». Революционер и социалист, Герцен, к тому же человек историче-ски образованный, конечно, хорошо знал, что «буржуазный мир» не веч-ен, а есть только историческое явле-ние. Но он понял, что этот порядок общежития определен неким духов-ным состоянием человеческой при-роды и потому не может быть уничтожен насильственным перево-ротом. И потому он с гордостью истинно свободного ума прибавляет: «Я не боюсь опошленного слова «постепенность». Он понял вместе с тем основное заблуждение ереси утопизма — замысел осуществить со-вершенную жизнь «на земле», т. е. в условиях по существу несовершен-ного состояния мирового бытия. Чуж-дый всяких религиозных верований, этот независимый ум из простого на-блюдения жизни и размышления о ней приходит к тому же осуждению ереси утопизма, которое может найти свое последнее и полное обос-нование только в христианском ре-лигиозном сознании.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Это убеждение в необходимости социально-политической, партийной борьбы и насильственного разрушения существующих общественных форм С. Л. Франк полагает основным содержанием «принципиального революционизма» (= «большевизма»), в основе которого лежат: «социальный оптимизм и опирающаяся на него механико-рационалистическая теория счастья. Согласно этой теории (...) внутренние условия для человеческого счастья всегда налицо, и причины, прелятствующие устройению земного рая, лежат не внутри, а вне человека — в его социальной обстановке, в несовершенствах общественного механизма. И так как причины эти внешние, то они и могут быть устранены внешним, механическим приемом». (С. Л. Франк. «Этика нигилизма». — «Вехи». М., 1909, с. 194) Это есть принципиальная установка на революцию и гражданскую войну, и отсюда же следует, что в общественном деле разрушение неизбежно доминирует над творчеством и созиданием.
2. К рассмотрению процесса осуществления на практике утопических идей социализма Франк обращался не один раз, в частности в главном своем труде по социальной философии, где он писал: «Социалистическая вера, овладевшая жизнью в лице русского коммунизма, празднует Пиррову победу; именно ее осуществление на практике есть крушение ее обаяния как веры». И далее: «Именно крушение социализма в самом его торжестве образует какой-то многозначительный поворотный пункт в духовной жизни человечества, ибо вместе с социализмом рушатся и его предпосылки — та гуманистическая вера в естественную доброту человека, в вечные права человека, в возможность устройства земными человеческими средствами земного рая, которая в течение послед-них веков владела всей европейской мыслью» («Духовные основы об-щества». Париж, 1930, с. 10—11).
3. Религиозные и социальные истоки русской революции и вообще большевизма раскрыты Франком в статье «Религиозно-исторический смысл русской революции».
4. Проблема религиозности революционной интеллигенции в России посвящено много работ самых известных русских мыслителей. Впервые во всей полноте этот вопрос был поставлен в сборнике «Вехи» (М., 1909), где ему специально посвящена статья С. Булгакова «Героизм и подвижничество». Затрагивают эту тему и другие авторы сборника — сам Франк, Н. Бердяев, П. Струве, выведший, кстати, лаконичную формулу, под которой, без сомнения, подписались бы все авторы «Вех» и их последователи: «Тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания» (с. 167). Позднее о своеобразии религиозности рус-ской интеллигенции удачно писал Г. Федотов: «1870 г. — год исхода в народ. Неожиданный, изумительный подвиг, аскетизмом своим воз-вращающий нас в Фиваиду, или, по меньшей мере, в монтанистскую Фригию (...) Читая их изумительное житие, подвиг отречения от всех земных радостей, терпения бесконечного, любви всепрощающей — к народу, предающему их, — нельзя не воскликнуть: да, святые, только безумец может отрицать это! Никто из врагов не смог найти ни пятнышка на их мученических ризах! (...) И вдруг — с 1879 г. — бродячие апостолы становятся политическими убийцами. Это срыв эсхатологизма. Царство Божие, или царство социализма, не наступило, хотя прошло уже 9 лет. Надо вступить в единоборство с самим князем тьмы и одолеть его. Это — переход от народообразования к политическим акциям, — зарождающие партии как «ордена меченосцев», которые одновременно насильники и аскеты» (Г. П. Федотов. «Новый град». Нью-Йорк, 1952, с. 41—43).

5. Вопрос о взаимосвязи закона и свободы в их отношении к человече-скому добру и злу, рассматриваемый с разных сторон (свобода и необ-ходимость, Церковь и государство), стал для русских философов на-чала века особенно актуальным в связи со спором Л. Толстого и Вл. Со-ловьева о государстве, в котором первый ратовал за анархию, а вто-рой — за теократию. (см. об этом споре в статье кн. Е. Трубецкого «Спор Толстого и Соловьева о государстве» в кн.: «О религии Льва Толстого». М., 1912. В этой же статье Трубецкий предлагает решение вопроса с позиций христианства, характерное для круга веховцев). Другой причиной обостренного интереса к этому вопросу была попытка создания в России христианского социализма («Христианское братство борьбы» В. Свенцицкого, В. Эрн и др.).

6. Именно в этом замысле полного подчинения человека государству и власти лежит корень всяческого тоталитаризма. Русский религиозный философ И. А. Ильин ярко охарактеризовал тоталитарный строй именно с этой стороны в небольшой статье «О тоталитарном режиме» (см. «Ат-мода». Рига, 1989, № 9), где он писал, что тоталитарный режим есть «политический строй, беспредельно расширивший свое вмешательство в жизнь граждан, включающий всю их деятельность в объем своего управления и принудительного регулирования (...)» Такое понимание тоталитаризма дало повод русскому богослову и философу архим. Киприану (Керну) говорить об особой версии огосударствления, ко-торая с особой силой расцвела в XX веке: «Давно уже жизнью выдвинута, фактическим строением вещей провозглашена и открыто бытом, государственным идеологиями и всецелым мировоззрением современности исповедуется ересь о человеке, как обезличенном рабе государства, класса и нации. Это уже не заблуждение в богословии, а ересь самой жизни, при которой все самое ценное в человеке должно подчиниться коллективу. Всего правильнее было бы, говоря языком богословским, назвать это ересью **бесчеловечности**» (Архим. Киприан (Керн). «Тема о человеке и современности». — В сб.: «Православная мысль». Вып. VI. Париж, 1948, с. 128).

7. Здесь Франк затрагивает проблему, важную для русской религиозной философии вообще. Это — критика прогресса, как он осуществлялся в Европе в Новое время и призывы, в противовес прогрессу, к преобра-жению жизни через преодоление греховности природы человека. Эта мысль занимала умы Н. Гоголя и Ф. М. Достоевского, Н. Федорова и Вл. Соловьева, о. П. Флоренского и кн. Е. Трубецкого, Н. Бердяева и о. С. Булгакова. Но впервые заговорил об этой проблеме в полный голос выдающийся русский богослов архим. Иларион (Троицкий) в статье «Прогресс и преображение» (Богословский вестник. Сергиев Посад, 1914, окт.—нояб.): «Идеал православия есть не прогресс, но преображе-ние (...) Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу». (с. 222—223). Далее архим. Иларион писал о грехе, в искоренении которого единственный путь к преображе-нию жизни, причем искать этот грех следует прежде всего в самом себе: «Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах правда эта; не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою» (с. 227).

ВСТУПЛЕНИЕ И ПРИМЕЧАНИЯ АЛЕКСАНДРА КАЗАКОВА

ЮОЗАС УРЬШИС ЛИТВА В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 1939—1940

Ка-та-стро-фа!

Вспомним то мгновение поздним вечером 3 октября 1939 года в Кремле, когда Сталин договорился с Германией о разделе Литвы, и Молотов подчеркнул, что любое империалистическое (капиталистическое) государство в таких условиях заняло бы Литву, и все.

— Мы этого не делаем. Мы не были бы большевиками, если бы не искали новых путей . . . — вроде бы успокаивающе добавил он.

Новые пути . . .

Теперь выясняется, что и они проложены все к той же старой цели — кованым сапогом топтать чужие земли.

В полночь 14 июня Молотов вызвал меня в Кремль. Мы отправились с Наткявичюсом.

— Я должен сделать Литовскому правительству очень важное заявление, — произнес Молотов и, взяв со стола послание, начал читать его вслух.

Это был ультиматум, который можно приравнять, пожалуй, только к объявлению войны, потому что ультиматум в международных отношениях — это категорическое, не терпящее каких-либо возражений и споров требование, которое одно государство предъявляет другому, угрожая пустить в ход военную силу, если его требование не будет выполнено в указанный в ультиматуме срок. А этот документ, как мы дальше увидим, был так отредактирован и еще так на словах уточнен Молотовым (во избежание всяких сомнений и надежд!), что на какие бы уступки Литва ни пошла, Советский Союз все равно займет ее своими военными силами.

В первой части этого ультиматума излагались обвинения, во второй — требования. Обвинения были подразделены на два пункта. Первый еще в более требовательной форме повторял версию Советского Союза о мнимом похищении советских военнослужащих, теперь уже открыто утверждая, что это сделали органы власти Литвы. В этот пункт были включены еще мнимые «многочисленные аресты и ссылка в концлагерь литовских граждан из обслуживающего советские воинские части персонала». Все эти инсинуации подавались односторонне, как факты, показывающие, «что правительство Литвы грубо нарушает» Договор о взаимопомощи и «готовит нападение (sic!) на советский гарнизон, расположенный в Литве на основании этого договора».

Во втором пункте обвинений утверждалось, что «Литовское правительство вступило в военный союз с Латвией и Эстонией». И это выдуманное Молотовым обвинение подавалось как факт, указывающий, что «Литовское правительство грубо» нарушает статью VI Советско-Литовского договора о взаимопомощи.

Даже если эти обвинения и имели бы какое-либо основание, для регулирования всех недоразумений могла быть применена процедура, предусмотренная Договором о ненападении, подписанным Литвой и Советским Союзом 28 октября 1926 года. Пятая статья этого договора ясно устанавливала, что при возникновении конфликта между договаривающимися государствами, который они не могут разрешить дипломатическим путем, Литва и Советский Союз назначают согласительные комиссии. Стало быть, Советский Союз, односторонне применив военную силу для разрешения не какого-либо реального, а искусственно раздутого им самим конфликта, грубо нарушил Договор о ненападении, а одновременно и все другие договоры, заключенные между обоими государствами.

Заслуживает здесь упоминания и Договор от 5 июля 1933 года, который установил, что использованию одним государством военных сил против другого государства не может служить оправданием «политическая, экономическая или социальная структура, приписываемые его администрации ошибки, волнения, вызванные забастовками . . . »

Во второй части ультиматума выдвигались следующие требования:

1) предать суду министра внутренних дел К. Скучаса и начальника департамента политической полиции А. Повилайтиса как прямых виновников провокационных действий против советского гарнизона в Литве;

2) сформировать в Литве такое правительство, которое было бы способно и готово обеспечить честное проведение в жизнь Советско-Литовского договора о взаимопомощи и решительное обуздание врагов договора;

3) обеспечить свободный пропуск на территорию Литвы советских воинских частей для размещения их в важнейших центрах Литвы в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить возможность осуществления Советско-Литовского договора о взаимопомощи и предотвратить провокационные действия, направленные против советского гарнизона в Литве.

Все эти требования — на любой непредвзятый взгляд — бесспорно противоречат Договору о взаимопомощи, в защиту которого выступает ультиматум, и прежде всего его статье VII. Приведем ее:

«Проведение в жизнь настоящего Договора ни в коей мере не должно затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их государственного устройства, экономической и социальной системы, военных мероприятий и вообще принципа невмешательства во внутренние дела».

Наконец срок ультиматума:

«Советское правительство ожидает ответа Литовского правительства до 10 часов утра 15-го июня. Непоступление ответа Литовского правительства к этому сроку будет рассматриваться как отказ от выполнения указанных выше требований Советского Союза».

Прочитав вслух послание, Молотов вручил его мне. Прочел его про себя и я. Что делать? Что говорить?

— Молчу в полном замешательстве.

— Этот ультиматум вызывает у меня страх за судьбу Литвы, — наконец произношу я и чувствую, что это совсем не те слова, которые были бы тут к месту.

Слова? Что горох об стену.

Молотов гневно восклицает:

— Хватит продавать Литву направо и налево! Знаем, как заботит вас судьба Литвы.

Не поддаюсь на его выходку.

Помолчав минуту, спрашиваю:

— Нельзя ли продлить срок ультиматума? Скоро уже час ночи.

Мы не успеем передать ультиматум правительству. Ведь его еще надо зашифровать.

Молотов на это:

— Мотивов ультиматума нет нужды передавать, а те три пункта быстро зашифруйте и до 10 часов утра получите ответ. Кроме того, какой бы ни был ваш ответ, войска завтра все равно вступит в Литву.

(Завтра . . . Не завтра, а сегодня, поскольку завтра по московскому времени уже наступило. Тогда в Литве действовало западноевропейское время, которое на два часа отставало от московского). Возвращаемся с Наткявичюсом в посольство с документом в кармане. Чувствуем себя уничтоженными и растоптанными.

Пытаемся соединиться по телефону с Каунасом. Не соединяют. Все провода, видно, заняты. Шифровать — нет времени. Три пункта требований передаем по телеграфу открытым текстом.

Под утро нас наконец соединяют с Каунасом. Отзывается Министерство иностранных дел. Подходит начальник административно-юридического департамента Вольдемарас Витаутас Чарняцис.

— Доброе утро, — говорю, — до десяти часов я должен сообщить, принимает или не принимает правительство ультиматум Советского Союза. Что я могу ответить?

Не возьмусь восстановить слова Чарняциса. Голос его отражал

весь трагизм положения. Чувствую, что и мой вопрос звучит для него странно, даже непонятно. Словно он хотел сказать: какая может идти речь о принятии или непринятии, когда это ничего уже не изменит, советские войска все равно вступают на литовскую землю!

Наконец усталым, сдавленным голосом он произносит:

— Принимает.

Здесь будет к месту почтить память этого благородного патриота. Он женился на американской литовке, была у него прекрасная и многочисленная семья. Его жена, поскольку она родилась в США, имела право на американское гражданство, а вместе с ней и он. Когда Советский Союз занял Литву, посольство США предложило выдать Чарняцкисам американские паспорта, чтобы они со всей семьей могли уехать в США. Однако Чарняцкис не пожелал в эти трагические дни расставаться со своей родиной и остался в Литве. Увы, ненадолго. Его депортировали со всей семьей в Сибирь. Там его заключили в лагерь, где он и скончался. Жена с четырьмя детьми, «обеспечивая» выполнение договора о взаимопомощи, выслали за Полярный круг, к устью реки Лены.

Утром 15 июня мы с Наткявичюсом попросили приема у Молотова.

Вскоре раздался телефонный звонок.

— Молотов ждет.

Молотов принял нас вместе с Поздняковым.

Говорю:

— Литовское правительство принимает ваш ультиматум.

— Хорошо, — произносит Молотов и, повысив голос, добавляет:

— Но ваше правительство продолжает проводить враждебную по отношению к нам политику. Мы только что получили сообщение, что оно назначило Рашикиса новым премьер-министром. Как вы можете без нашего ведома и без нашего согласия назначать нового премьер-министра?

— Но вы же требуете сформировать новое правительство... — пытаюсь объяснить я.

— Да, но оно должно быть приемлемым для нас. Поэтому его формирование вы должны согласовать с нами.

Согласно ультиматуму, советские войска вводятся в Литву, чтобы обеспечить возможность выполнения Советско-Литовского договора, а статья VII *expressis verbis** устанавливает, что (повторяю): «Проведение в жизнь настоящего Договора ни в коей мере не должно затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их государственного устройства, экономической и социальной системы, военных мероприятий и вообще принципа невмешательства во внутренние дела».

И вот — без «благословения» Советского Союза Литва, суверенное государство, не может само сформировать своего правительства.

— Ну ладно, — продолжает уже более спокойным тоном Молотов. — Сегодня в Литву вылетит наш особый уполномоченный. Кто им будем, я еще не знаю.

И смотрит на меня, молчит — поди узнай, о чем он думает.

— С ним ваш президент и должен советоваться относительно формирования нового правительства. С ним и с товарищем Поздняковым, — завершает Молотов.

Особым уполномоченным был назначен упомянутый выше Деканозов, заместитель наркома иностранных дел.

Телеграфируем в Каунас все, что услышали от Молотова. Наткявичюс говорит:

— Может, телеграфируем, чтобы Скучас и Повилайтис никуда не бежали. Чего им бояться суда? Если сбегут, это будет вроде бы признание их мнимой вины.

Передали... Мы были такими наивными... несмотря ни на что, все надеялись, что Литва останется независимым государством.

Наткявичюс пророчил ей тогдашний статус Монголии. Мы-то думали, что литовский суд в своей стране будет открыто рассматривать дело Скучас и Повилайтиса. Ведь первый пункт требований ультиматума гласил: «передать суду министра внутренних дел К. Скучас и начальника департамента политической полиции А. Повилайтиса». Премьер-министр А. Меркис, приказав арестовать этих официальных лиц, выполнял требование ультиматума. А кто и когда слышал о суде над ними? А вообще об их судьбе? Они исчезли в лабиринтах НКВД. Только из Литовской советской энциклопедии, вышедшей в 1982 и 1983 годах, можно узнать, что Скучас умер в 1941 году в Москве и что Повилайтис, словно по договоренности со Скучасом, скончался в том же году. Только место его смерти не указано. В труде польского историка Ежи Охманьского «История Литвы» можно прочитать: «Скучас и Повилайтис, схваченные на прусской границе, были заключены в тюрьму и позднее казнены».

15 июня в Москве в Большом театре шел заключительный спектакль

такль декады искусства Белоруссии. Получили приглашение и мы с Наткявичюсом. Он спрашивает меня, пойдем или нет.

— Нет, — отвечаю, — не тем голова занята.

Наткявичюс уговаривает все же пойти. Дескать, зачем такая демонстрация. Что это даст?

Пошли. Мне досталось место в ложе рядом с послом Германии фон Шуленбургом. По каким соображениям, протокольным или каким-то другим, не знаю.

Поскольку завтра я намеревался отбыть, следовало бы нанести прощальный визит Молотову. Из посольства позвонил в протокольный отдел. Оттуда вскоре сообщили, что Молотов, хотя и присутствует в этот вечер на приеме, устраиваемом в Кремле для белорусов, все-таки покинет их ненадолго и в половине двенадцатого ночи примет меня.

Отправившись еще раз — теперь уже, по крайней мере для меня, в последний — в Кремль.

Оставивший прием Молотов принял нас в добром расположении духа. Почему-то поинтересовался моим мнением о Юстасе Палецкисе. Я сказал, что считаю его искренним патриотом Литвы. Ничего я тогда не знал и даже не предполагал, какую роль намечает Кремль для Юстаса Палецкиса.

На прощание внимательно взглянув на нас с Наткявичюсом, Молотов произнес:

— Вы сможете работать при новом порядке.

— Благодарю.

Молотов чувствовал себя уже полным хозяином Литвы. Почему бы нет? Если введено столько войск. Как русский, он знал, наверное, поговорку: «Кто палку взял, тот и капрал».

На другое утро, 16 июня, я летел рейсовым шведским самолетом в Ригу.

По мере приближения к Латвии в небе все больше советских истребителей. В тот же день советские войска заняли Латвию и Эстонию. Два истребителя приблизились к нашему самолету с разных сторон. Приказали снижаться и сопроводили на военный аэродром, где стояло множество военных самолетов. Из нашего вышел летевший с нами какой-то чин, остальные остались ждать на своих местах. Через четверть часа он вернулся, «швед» снова взмыл в небо.

В Риге я пересел на поезд. Вот и Литва, дорогая, милая, единственная.

Деканозов заправляет Литвой

На Шяуляйском аэродроме гудят советские военные самолеты.

На станции в Кедайняй стоит влезший на платформу танк, оказывающий «взаимопомощь».

Общая картина меня ужасает.

За Ионавой из ржаного поля урча выбираются на проселок танки, пришедшие сюда по ультиматуму.

Каунас...

Жена в тревоге собирает вещи — велено освободить служебную квартиру.

Из собственного дома по улице Донелайтиса, 2^а, выезжает и ее отец — шестидесятилетний педагог и писатель Пранас Машётас с семьей. Его дом понадобился советским войскам.

Куда деваться? Сняв дачу, перебираемся в Качергине.

Надо сдать в министерство иностранных дел дипломатический паспорт. У дверей стоят красноармейцы, но вход свободный.

* * *

«Как вы можете без нашего ведома и без нашего согласия назначить нового премьер-министра», — гневался, как упоминалось, 15 июня в 10 утра Молотов, узнав, что в Литве на этот пост выдвинута кандидатура генерала Рашикиса.

И уточнил:

1) Новое Литовское правительство должно быть приемлемым для Советского Союза;

2) Его формирование Литва должна согласовать с направляемым в Литву особым уполномоченным Советского Союза и с посланником СССР в Литве Поздняковым.

Этим особым уполномоченным оказался прилетевший в Каунас Деканозов.

В Литве он заправляет формированием так называемого Народного правительства.

По указаниям Сталина, Молотова и Берии Деканозов распределяется и всеми остальными этапами присоединения Литвы к Советскому Союзу.

Поскольку я восемнадцать лет прослужил в ведомстве иностранных дел, иду к новому генеральному секретарю этого министерства Пиюсу Гловацкасу в поисках работы.

Приятный, культурный человек. Выслушал меня, попросил зайти через пару дней.

Когда я пришел, Гловацкас сообщил:

* Ясно (лат.)

— Расспрашивал мелких служащих министерства, они ничего худого о вас не говорят. Говорил по поводу вашей дальнейшей службы в министерстве с советским послом Поздняковым. Он выразил пожелание, чтобы вы сами к нему зашли.

В советском посольстве меня принимали в одних рубашках с закатанными рукавами — жаркими во всех отношениях были те июньские дни в Литве — Деканозов с Поздняковым.

Поздоровался.

— Видите, как дела обернулись, — обращается ко мне Деканозов.

Как тут не видеть...

— Да... — отзывается я. — Что теперь поделаешь... — добавляю разводя руками.

— Что по-де-ла-ешь?! — повторяет он с угрозой в голосе, растягивая слоги.

Я им рассказываю, зачем ходил к Гловацкасу, и что он направил меня к ним.

— Неужели вы так наивны, думаете, что Литва будет иметь отдельное министерство иностранных дел? — спрашивает Деканозов.

И в самом деле я был таким наивным. Верил в принцип *sunt servanda* (договоры надо соблюдать), верил декларируемому беспрестанно Советским Союзом праву нации на свободу и независимость и обольщался, что после всех этих потрясенный разум в конце концов возьмет верх, Литве будет возвращена свобода и возможность далее шагать по пути прогресса как независимому государству.

— Чего вам спешить с работой? — продолжает разговор Деканозов. — Отдохните! Поезжайте в Крым или на Кавказ, на какой-нибудь курорт, наберетесь сил, вернетесь — работа найдется.

— Нет, благодарю. Для такого путешествия прежде всего нужны деньги, и немалые, у меня их нет.

— Об этом не волнуйтесь, вам это ничего не будет стоить.

— Нет, благодарю, пока дела не улажены, мне отдых не в отдах.

— Ладно. Как хотите... Так чем вы могли бы заниматься? В области культуры или экономики?

— Скорее культуры.

Взяв свою визитную карточку, Деканозов написал на ней несколько слов и подал мне:

— Идите к министру просвещения Венцлове и договоритесь. Поздняков проводил меня до выхода и пригласил на прием, который он устраивал в посольстве.

— Приходите, — уговаривал он. — Собирается цвет культурной жизни Литвы... Покажите, с кем вы, на чьей стороне...

— Премного благодарен, не смогу. Я живу в Качергине, далеко ехать... И еще вечером... — отговорился я.

Направляюсь с карточкой Деканозова к Венцлове. Он тут же меня принимает. Июньская жара, усугубленная накаленной политической обстановкой, заставила и его снять пиджак и закатать рукава. Он прочел записку Деканозова, взглянул на меня, заинтересовался, какая бы работа мне подошла.

В конце концов договорились — как найдется что-нибудь подходящее, он меня вызовет.

Приехав на следующий день в Каунас, я сообщил коммунисту Пиюсу Гловацкасу, как упомянул, новому генеральному секретарю министерства иностранных дел, о своем посещении советского посольства.

В заключение добавил:

— Надо все-таки что-то делать, чтоб Литва осталась независимым государством.

— Это дело решаем не мы (понимай: не коммунисты Литвы. — Ю. У.), от нас это не зависит.

— Надо говорить с теми, от кого это зависит.

— Мы (понимай: коммунисты Литвы. — Ю. У.) не можем.

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Здесь, пожалуй, будет уместно остановиться на некоторых положениях официальной советской историографии в отношении рассматриваемых событий.

Доктор исторических наук, профессор К. Сурблис в пространственной официальной советским агентством АПН статье пишет: тот факт, что части Красной Армии были введены на территорию Литвы, Латвии и Эстонии, кое-кто пытается представить как оккупацию. Между тем хорошо известно, что Красная Армия была введена в Прибалтику летом 1940 года на основе пактов и договоров о взаимопомощи, которые Советский Союз заключил с Эстонией, Латвией и Литвой соответственно 28 сентября, 5 октября и 10 октября 1939 года. Таким образом дислокация частей Красной Армии на территории трех республик была юридически вполне обоснована и отвечала международным нормам.

Так ли это было в действительности? Напротив: 10 октября 1939 года Литва и СССР подписали «Договор о передаче Литов-

ской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой». Выше рассказывалось, при каких обстоятельствах он подписывался и какое содержание в него вкладывалось.

Само название договора показывает, что он принципиально должен был служить орудием помощи, а не захвата. Его текст, кстати, ясно определяет, что при его осуществлении все дела и вопросы будут регулироваться и решаться общими соглашениями, а не диктатом одной стороны по отношению к другой.

Напомню некоторые из его статей.

«Статья IV

Советский Союз и Литовская Республика обязуются совместно осуществить защиту государственных границ Литвы, для чего Советскому Союзу предоставляется право держать в *установленных по взаимному соглашению пунктах* Литовской Республики за свой счет строго ограниченного количества советских наземных и воздушных вооруженных сил. Точное местопребывание этих войск и границы, в которых они могут быть расположены, их количество в каждом отдельном пункте, а также все другие вопросы, как то: хозяйственного, административного, юрисдикционного характера и прочие, возникающие в связи с пребыванием советских вооруженных сил на территории Литвы, согласно настоящему Договору будут регулироваться особыми соглашениями.

Во исполнение этой статьи по соглашению обеих сторон в Нововильню, Гайжюнай, Пренай и Алитус были введены в строго ограниченном количестве советские гарнизоны, установлены границы местопребывания каждого из них и количество войск в каждом отдельном пункте.

Вот что было предусмотрено указанным договором и мирно претворено в жизнь осенью 1939 года.

Массовое занятие территории Литвы 15-го и в последующие дни июня 1940 года отнюдь не было установлено или предусмотрено договором; оно было диаметрально противоположным духу и букве того договора, фактически было его нарушением.

Вспомним и другие статьи Договора о взаимопомощи (повторяю еще раз).

«Статья VII

Проведение в жизнь настоящего Договора ни в коей мере не должно затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их государственного устройства, экономической и социальной системы, военных мероприятий и вообще принципа невмешательства во внутренние дела».

Или вот эту статью —

«Статья V

В случае угрозы нападения на Литву или на СССР через территорию Литвы обе Договаривающиеся Стороны немедленно обсудят создавшееся положение и примут все меры, которые будут по взаимному соглашению признаны необходимыми, для обеспечения неприкосновенности территории Договаривающихся Сторон».

Положения о военных мерах договаривающиеся стороны, кроме того, считали временными, чему была посвящена следующая статья.

«Статья VIII

Срок действия настоящего Договора в части, касающейся обязательств взаимной помощи между СССР и Литовской Республикой (ст. Ст. II—VII), — пятнадцать лет, причем, если за год до истечения указанного срока одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать установленные на срок постановления настоящего Договора, эти постановления автоматически сохраняют силу еще на следующие десять лет».

Договор о взаимопомощи от 10 октября 1939 года, помимо того, вовсе не отменил ни одного из подписанных до того времени договоров между Литвой и Советским Союзом и ни одного из их положений. Таким образом, и предыдущие договоры со всеми их положениями, некоторые из которых приводились в начале настоящей статьи, продолжали действовать. Это, как мы видим, было со всей определенностью подчеркнуто в преамбуле Договора о взаимопомощи.

Тем самым сохраняли свою силу положения договоров:

- 1) Советский Союз признает самостоятельность и независимость Литовского государства, неприкосновенность его границ;
- 2) при возникновении между обоими государствами такого конфликта, который нельзя будет разрешить дипломатическим путем, Литва и Советский Союз назначат согласительные комиссии (следовательно, не используют для своих целей военную силу);

3) нападающей стороной (агрессором) считается и то государство, которое вторгнется вооруженными силами, даже без объявления войны, на территорию другого государства;

4) никакое агрессивное действие не может быть оправдано «политической, экономической или социальной структурой» какого-либо государства, «приписываемыми его администрации ошибками»;

5) агрессия не может быть оправдана недоразумениями, затрагивающими экономические, финансовые или другие обещания в отношении других государств.

Таковы были правовые основы отношений между Литвой и Советским Союзом, а что уж говорить об общих нормах международного права и морали, до врученного Литве в последние минуты 14 июня 1940 года ультиматума Советского Союза.

* * *

Итак, действительно, размещение условленного количества советских гарнизонов в Ново-Вильне, Гайжюнай, Пренай и Алитусе было осуществлено в соответствии со статьей VI Договора от 10 октября 1939 года и потому не может квалифицироваться как оккупация.

Ясно видно, какие гарантии предоставляли действующие договоры сохранению в неприкосновенности суверенности и независимости Литвы. Требовалось только соблюдать эти договоры.

Принципиальным условием размещения советских гарнизонов в Литве было то, что соседняя держава в условиях напряженного международного положения, основываясь на договорах, временно разместила военные гарнизоны — при строгом ограничении количества войск, местопребывания и компетенции — на территории малого соседнего государства, не затрагивая суверенности, независимости этого государства и не вмешиваясь в его внутренние дела. Так было определено договором, и пока великая держава соблюдала в целом этот и другие действующие договоры и нормы международного права, размещение гарнизонов чужих войск на территории Литвы не могло квалифицироваться как оккупация.

Ростки оккупации и последующей аннексии начали пробиваться в ночь с 14 на 15 июня 1940 года, когда был вручен упомянутый ультиматум. Вспомним еще раз, при каких обстоятельствах он был вручен в Москве, как всю ночь затрудняли передачу его правительству в Каунас, явно стремясь заставить врасплох, дезориентировать и дезорганизовать Литву.

Так кто осмелится, положа руку на сердце, *bona fide** утверждать, что Красная Армия была введена в Прибалтику в июне 1940 года на основе «пактов и договоров о взаимопомощи, которые Советский Союз заключил с Эстонией, Латвией и Литвой соответственно 28 сентября, 5 и 10 октября 1939 года». Ведь, как мы видели в отношении Литвы, все это договоры и все положения этих договоров прямо противоречили военной акции подобного характера. Если это делалось в соответствии с договорными обязательствами, то зачем же понадобился ультиматум, который вводит в заблуждение общественное мнение?

Его авторы, Сталин с Молотовым, намереваясь оккупировать и аннексировать Литву, редактировали его, прекрасно отдавая себе отчет в том, что поступают в нарушение действующих договоров, отсюда и вытекает коварство дымовой завесы этого документа.

Литовское правительство приняло ультиматум — об этом утром 15 июня министр иностранных дел Литвы лично сообщил в Кремле Председателю Совета Народных Комиссаров СССР В. М. Молотову.

Какая правовая ситуация сложилась между Литвой и Советским Союзом после того, как Советский Союз вручил Литве ультиматум и Литва его приняла?

Рассмотрим подробнее и этот вопрос.

Ультиматум, с одной стороны, это диктат, то есть навязывание сильной стороной слабой стороне своих условий и требований, но в то же время, если слабая сторона их принимает, он становится своего рода договорным актом. Клаузула** этого акта налагает обязательства с точки зрения права и на сильную сторону, автора ультиматума.

Что нового внес ультиматум Советского Союза в сложившуюся до того времени правовую структуру взаимоотношений двух соседних государств?

Ответ на этот вопрос следует искать в самом тексте ультиматума.

Выше уже говорилось об аргументирующей части ультиматума. Здесь на этот счет заметим лишь следующее:

1) никакого подлинного обмена мнениями в дни перед вручением ультиматума между правительствами Литвы и Советского Союза не происходило — были лишь односторонние и

пристрастные нападки Молотова, упреки, очернение другой стороны, направленные на непрерывное, день за днем, сгущение атмосферы, в том же духе, в каком делал это Риббентроп перед отторжением Клайпеды;

2) «установленные факты» ультиматума были, как мы видели, не факты, а односторонние необоснованные утверждения;

3) утверждение, что Литва якобы готовит нападение на советский гарнизон, размещенный на ее территории, было и остается очевидным абсурдом;

4) обвинение в том, что Литва якобы заключила военный договор с Латвией и Эстонией, направленный против Советского Союза, было и остается ничем не доказанным.

Молотов включил в ультиматум в качестве одного из аргументов, призванных оправдать вооруженное вторжение, даже факт издания в Таллине печатного органа «Ревью Балтик».

По принципу: какой ты нечестный и какой я добрый, в ультиматуме делается вывод, что Литва ведет себя «нечестно», несмотря на исключительно благожелательную и определено пролитовскую политику СССР в отношении Литвы, которой Советский Союз, как известно, по собственной инициативе передал город Вильнюс и Вильнюсский край.

Повторю, что сам Сталин на подобное высказывание одного из соратников заявил: «Вильню Литве принадлежит по праву». И в действительности город Вильнюс, древняя столица Литвы, и Вильнюсский край — исконные литовские земли. Принадлежность Вильнюса и Вильнюсского края Литве была признана Советским Союзом уже по Мирному договору от 12 июля 1920 года. Так что Договором от 10 октября 1939 года Советский Союз выполнил лишь свое предыдущее договорное обязательство и выполнил, кстати, односторонне, урезав передаваемую область и возложив на Литву гибельное для ее независимости, как показало будущее, бремя военных баз.

Углубимся теперь в основную часть ультиматума, в его цель, как она декларируется и формулируется:

«обеспечить честное и добросовестное выполнение Договора о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой...»

...обеспечить возможность осуществления Советско-Литовского договора о взаимопомощи...»

Для достижения этой цели авторы ультиматума, Сталин с Молотовым, выдвигают конкретные требования, вместе с тем отмечая, что «Советское правительство считает выполнение этих требований тем элементарным условием, без которого невозможно добиться того, чтобы Советско-Литовский договор о взаимопомощи выполнялся честно и добросовестно».

Из этого неоспоримо вытекает, что тот *sui generis** правовой акт, ультиматум, обязывал и Советский Союз уважать и лояльно, добросовестно выполнять подписанный 10 октября 1939 года Литвой и Советским Союзом Договор о взаимопомощи.

Поскольку, с другой стороны, этот договор вобрал в себя и все другие взаимные договоры — и прежде всего санкционированный В. И. Лениным 12 июля 1920 года Мирный договор — с точки зрения права Советский Союз должен был их все уважать и после предъявления ультиматума.

Согласно ультиматуму введение советских войск на всю территорию Литвы должно было носить временный характер — для выполнения частной, четко определенной в ультиматуме задачи. И выполнять ее, безусловно, не путем нарушения действующих между обоими суверенными государствами договоров, а при строгом их соблюдении. После выполнения задачи все эти войска, за исключением предусмотренного Договором о взаимопомощи от 10 октября 1939 года контингента, дислоцированного в условленных местах, — следовало из Литвы вывести. Ведь задача, если следовать тексту самого ультиматума, заключалась в обеспечении честного и добросовестного выполнения Советско-Литовского договора о взаимопомощи. Ультиматум не мог подменить собой Договор о взаимопомощи. Напротив. Ультиматум преследовал только одну цель — честное и добросовестное выполнение Договора о взаимопомощи и, стало быть, посредством этого всего комплекса договоров между обоими государствами.

Литовское правительство, принимая ультиматум, приняло только то, что в нем написано, а именно — введение войск с четко поставленной целью. Для того, как говорится в ультиматуме, чтобы обеспечить функционирование Советско-Литовского договора о взаимопомощи, а не растоптать весь договорно-правовой комплекс отношений между двумя государствами.

После того, как опираясь на свои могущественные военные силы и репрессивный аппарат, введенные на территорию Литвы и занявшие ее, Сталин с Молотовым нарушили суверенные права Литвы, разрушили ее государственный строй и структуру, уничтожили ее вооруженные силы, попрали принцип невмешательства во внутренние дела, торжественно провозглашенный и санкцио-

* Вполне искренне (лат.)

** Клаузула — какое-либо специальное условие, предусмотренное или оговоренное в договоре.

* Своеобразный (лат.)

нированный ставшей VII Договора о взаимопомощи, или, иначе говоря, когда одна договаривающаяся сторона силой уничтожила другую договаривающуюся сторону и вытеснила ее, оккупировала территорию другой стороны, — говорить о том, что все это было сделано в соответствии с договорами, связывающими оба государства, что все эти действия имеют правовое основание и отвечают нормам международного права, значит, мягко выражаясь, насмеяться над этими нормами и просто над самой обыкновенной честностью...

* * *

Доктор исторических наук профессор К. Навицкас утверждает: «Революция в Литве началась 15 июня 1940 года. На сторону народа перешла литовская армия» («Тиеса», 1978 г., 21 ноября).

Если бы ситуацию, когда одно государство, задумав включить в свой состав другое государство, занимает его, присоединяет и устанавливает в нем свои порядки, можно было назвать революцией, то профессор К. Навицкас прав. Однако в области международных отношений и международного права для обозначения подобных действий применяются совсем иные термины.

15 июня 1940 года на революция началась в Литве, а Советский Союз занял ее своими воинскими подразделениями и силами репрессивного аппарата.

Не мнимая революция, а Советский Союз, пустив в ход ультиматум и вооруженную интервенцию, сверг правительство Литвы, парализовал и ее государственный механизм.

Не мнимая революция, а занявший Литву Советский Союз поставил на место свергнутого правительства новое правительство (по сути дела — свой исполнительный орган), которое назвали или которое само себя назвало Народным правительством.

Ультиматум, вооруженная интервенция, свержение правительства Литвы, образование Народного правительства, выборы в народный сейм, резолюции этого сейма, все, что происходило в Литве с 15 июня по 3 августа, было не что иное, как этапы присоединения Литвы к Советскому Союзу, присоединения, которое умышленно, планомерно и целенаправленно, преступая международное право и международную мораль, совершали и совершили Сталин и Молотов в условиях печально известного «культы личности».

Знаменательно такое совпадение: в тот же день, когда Молотов вручает Литве свой циничный ультиматум, Гитлер занимает Париж.

* * *

«На сторону народа перешла Литовская армия», — говорит К. Навицкас.

Поскольку в июне 1940 года ни революции, ни гражданской войны в Литве не было, нация не была разделена на воюющие между собой лагеря, то и Литовской армии не было ни необходимости, ни повода оставить одну из сторон и перейти на другую. Правда гораздо проще: заняв Литву, вместе с ее независимостью Литовскую армию ликвидировали Сталин и Молотов, то есть Советский Союз.

Принятие ультиматума означало, что Литовское правительство решило не применять оружия — это было безнадежно — против вступающей на территорию Литвы армии соседнего государства. Командующему армией В. Виткаускасу было поручено принять меры, чтобы избежать на границе внезапных вооруженных столкновений, и войти с этой целью в контакт с командованием Советской Армии. Об этом одновременно с известием о принятии ультиматума я сообщил в Кремле В. Молотову 15 июня в 10 часов утра.

Мы все еще питали надежду, что выбитые злой волей из нормальной колеи отношения двух независимых государств можно будет уладить политическими средствами, опираясь на ультиматум, якобы направленный на то, чтобы обеспечить «добросовестное выполнение Советско-Литовского договора о взаимопомощи», а также использовать возможности, предоставляемые всем комплексом договоров между обоими государствами.

Это оказалось бы возможным, если бы Сталин и Молотов преследовали ту же цель, если бы с их стороны была проявлена хоть крупица доброй воли.

Их цель была совершенно иной — они стремились отнюдь не к добросовестному выполнению Договора о взаимопомощи (как утверждалось в ультиматуме), а к аннексии Литвы, которую и осуществили с молниеносной быстротой.

При ломке независимого Литовского государства одной из первых мишеней оказалась, естественно, Литовская армия. Сталин и Молотов назначили своего генерала для политического управления Литовской армией, а на самом деле, как вскоре показали факты, для подготовки поэтапной ее ликвидации. И это незамедлительно было претворено в жизнь. Литовская армия была ликвидирована.

Вот так происходил «переход на сторону народа» Литовской армии, который столь часто склоняют как советские историки, так и другие работники идеологического «фронта».

«Государство — это я», — некогда говорил Людовик XIV, имея в виду, разумеется, свое, французское государство. Перефразируя его слова, концепцию самосознания Сталина можно было бы определить так: «Народ — это я». Но в отличие от Людовика XIV, он считал себя вправе вешать и действовать не только от имени народов своего государства, но и народов других стран. Так, правая рука Сталина Молотов, вручая Литве ультиматум, нагло присвоил себе право говорить от имени литовского народа. По-видимому основываясь на этой концепции, советские историки и считают, что ликвидацию не обнажившей оружия Литовской армии, которую совершил Сталин, заняв Литву, они вправе изображать как ее переход на сторону «народа».

Профессора К. Сурблис и К. Навицкас процитированы здесь, в общем-то, случайно. Точно так же можно было бы привести выдержки из работ любого другого советского историка или неисторика, пишущего о включении независимого Литовского государства в состав Советского Союза. Все они исполняют те же обязанности, какие когда-то прусский король Фридрих II определил для своих юристов, сформулировав их примерно так: я делаю то, что мне нужно, а юристы существуют для того, чтобы разъяснить, что сделанное мною законно и справедливо.

* * *

О событиях июня — июля 1940 года мне однажды довелось беседовать с видным литовским коммунистом Болеславом Баранаскусом (1902—1975). Я рассказал ему, как все происходило на самом деле. Он слушал довольно долго, не прерывая, а потом сказал:

— Если я не возражаю, не думайте, что соглашаюсь с вами, вы совершенно игнорируете роль литовских коммунистов.

Нет, конечно, никто не вправе игнорировать роль литовских коммунистов в подготовке и проведении присоединения независимого Литовского государства к Советскому Союзу! Только эта роль была далеко не самостоятельной, ее дала им и дирижировала событиями другая держава.

Не литовские коммунисты подняли победоносную революцию, как изображает официальная историография, и без кровопролития взяли власть края в свои руки, на основе самоопределения включив Литву в состав Советского Союза, а Сталин путем вооруженной интервенции аннексировал ее, воспользовавшись бушующей в Европе войной, сумятицей в международных отношениях, изоляцией Литвы, в которой она оказалась из-за этой войны, из-за этой сумятицы и прежде всего из-за враждебного Литве тайного сговора Сталина — Молотова с Гитлером — Риббентропом.

Литовским коммунистам волей-неволей пришлось выступать заодно со Сталиным, когда тот совершал территориальную экспансию в Литву. «Волей-неволей» потому, что литовские коммунисты, во всяком случае большинство из них, наверняка и не подозревали о прикрываемых поначалу разными димовыми завесами аннексионистских намерениях Сталина — Молотова, а когда поняли это, было уже поздно. Вспомним, как выдающийся их деятель Пиюс Гловацкас оценивал возможности литовских коммунистов сохранить — если такие желания или устремления вообще у них были — независимость Литвы после того, как ее заняла сталинская армия. «Это дело решает не мы, — говорил он, — от нас это не зависит» (т. е. зависит только от руководства Советского Союза).

Удивляться тут нечему, ведь принадлежность к Коммунистической партии Литвы подразумевала принадлежность и подчиненность Коммунистической партии Советского Союза, тогда носившей название ВКП(б).

Так, в «Тиесе» от 17 февраля 1981 г. в некрологе литовскому коммунисту Мечисловасу Гедвиласу значится: «Член КПСС с 1934 года». Там же о нем написано, что в июне 1940 года он «стал министром внутренних дел Народного правительства». Знаем также, что генеральным секретарем этого министра (заместителем министра) был член КПСС с 1927 года Александрас Гудайтис-Гузьявичюс, директором департамента государственной безопасности — член КПСС с 1920 года Антанас Снечкус. Главным политическим руководителем Литовской армии, стало быть, ее ликвидатором, — член КПСС с 1917 года, советский генерал Йонас Мацяускас. Кто, в сущности, назначил их на упомянутые должности? Кому они, исполняя эти обязанности, подчинялись? КПСС. Чьи указания и приказы они выполняли? КПСС, то есть Сталина и его эмиссаров.

Вот так, опираясь на заполонившие Литву войска и части НКВД, Сталин с Молотовым взяли в свои руки все рычаги управления Литовским государством и, манипулируя ими — инсценировав с помощью своих партийных подчиненных из числа

литовских граждан видимость внутренних действий, совершили то, что замыслили, — присоединили Литву к Советскому Союзу.

При обсуждении этой преступной акции Сталина нельзя упускать из виду и террор, свирепствовавший в Советском Союзе в так называемых «условиях культа личности». От него пострадали и литовские коммунисты...

Вспомним судьбу одного из них — Зигмаса Алексы-Ангаретиса (1882—1940).

Литовская советская энциклопедия в 1976 году охарактеризовала его как выдающегося деятеля «литовского и международного коммунистического движения» и «организатора и руководителя Коммунистической партии Литвы», скромно умалчивая о трагедии его жизни.

Боле откровенной была вышедшая на десять лет раньше Малая литовская советская энциклопедия. Там, хоть и при помощи священной эвфемистической формулы, констатируется: «Погиб, незаконно репрессирован в условиях культа личности. В 1956 г. реабилитирован».

Где погиб, вернее, где был убит? В Москве. Когда погиб? 22 мая 1940 года.

(Не его единственного из литовских коммунистов постигла столь трагическая судьба. Погибли жена В. Мицквичюса-Капсукаса Домицелле-Эляна Тауткайте, Витаутас Путна, Юозас Варейкис, Юозас Блажквичюс и многие другие.)

Запомните дату гибели Зигмаса Алексы-Ангаретиса — на третий день, 25 мая 1940 года, Молотов вызвал в Кремль посла Литвы Л. Натквичюса — что он ему заявил и чем все кончилось, вы уже видели.

Это заявление Молотова и было прологом к задуманной Сталиным — Молотовым аннексии Литвы.

Итак, старый литовский коммунист, сотрудник Коминтерна, незаконно убит, вина его не доказана, поскольку в 1956 году он был реабилитирован, убит именно в такой момент, когда, казалось бы, сама судьба послышала его Сталину и Молотову как руководителя акции присоединения Литвы. А может, он выступал за государственную независимость Литвы (естественно, социалистической)?

Ведь литовские коммунисты, будучи в подполье, с одобрения или даже по указаниям З. Алексы-Ангаретиса по разным поводам выпускали воззвания с призывом отстаивать независимость Литвы.

И 15 июня 1940 года, в тот самый день, когда армия Советского Союза заняла Литву, они еще (по инерции или искренне?) в своем воззвании писали: «Прошло уже восемь месяцев с того дня, как был подписан Пакт о взаимопомощи между СССР и Литвой. За это время мы все ясно увидели, какое огромное значение имеет этот договор для независимости (разрядка моя. — Ю. У.) Литвы».

«Лишь враги независимости и народа Литвы выступают против этого договора».

«Защита независимости Литвы таким способом (понимай: после захвата Литвы Советским Союзом. — Ю. У.) гарантирована».

Итак, в эти трагические дни литовские коммунисты вроде бы еще стояли на позициях защиты независимости.

Однако вскоре все это было предано забвению, ушел в небытие и сам объект ультиматума — договор о взаимопомощи. Выяснилось, что Сталину этот пакт был нужен как этап аннексии, предлог и дымовая завеса.

Так вышли наружу те «новые пути», которые имел в виду Молотов на переговорах о Вильнюсе и навязанных Литве военных баз.

Однако мнимые «новые пути» вскоре совпали со «старыми» — Советский Союз занял и присоединил Литву.

Литовские коммунисты в этой трагедии нации играли и сыграли роль, которую предназначило им их высшее руководство — ВКП(б), то есть Сталин.

* * *

В этом контексте полезно остановиться на выпущенной в 1980 году в Вильнюсе издательством «Мокслас» книжке «Критика историографии литовских буржуазных эмигрантов», точнее на статье В. Канцвичюса «Воспоминания буржуазных политических деятелей о событиях июня 1940 года в Литве и историческая истина».

Автор, процитировав отрывки из воспоминаний и высказываний А. Сметоны, К. Мустейкиса, С. Раштикиса, К. Шкирпы о событиях 1940 года в Литве, делает несколько выводов.

ПЕРВЫЙ. «А. Сметона вступил в тайный сговор с Германией, направленный на то, чтобы так или иначе связать Литву с нацистской Германией» (с. 139).

На это следует заметить, что тайный сговор с Германией, да еще нацистской, в то время действительно существовал. И был этот сговор действительно направлен против государственной не-

зависимости Литвы. Только не Сметоны с Гитлером, а Сталина — Молотова с Гитлером — Риббентропом. Молотов и Риббентроп подписали 28 сентября 1939 года секретный преступный протокол, согласно которому Гитлер то, что ему не принадлежало — независимое Литовское государство, — уступил Сталину, а он это в общем-то чужое имущество у Гитлера взял и в июне 1940 года пришел со своей армией окончательно забрать его силой. Вот где историческая истина, ведь именно она, если судить по заглавию статьи, заботит В. Канцвичюса. Бесплезно отрицать наличие этого протокола. Сталин отнюдь не скрывал его содержания. Напротив. Когда делегация Литвы 3 октября 1939 года прибыла в Кремль на переговоры о возвращении Вильнюса Литве, он, как рассказывалось выше, начал разговор с того, что признался в своем тайном сговоре с Гитлером. Разумеется, у него была своя цель — показать Литве, что она загнана своими великими соседями в тупик и что ей не остается ничего другого, как впустить на свою территорию навязываемые ей советские гарнизоны, которые, как показало будущее, и были первым этапом аннексии.

ВТОРОЙ. «Требования и рекомендации Коммунистической партии Литвы и возглавляемых ею антифашистских сил об образовании нового (Народного) правительства были выполнены конституционным путем» (с. 148).

В связи с этим заключением В. Канцвичюса следует вспомнить прежде всего слова В. Молотова, сказанные им 15 июня 1940 года министру иностранных дел Литвы. Вот эти слова: «Мы только что получили сообщение, что оно (правительство Литвы. — Ю. У.) назначает Раштикиса премьер-министром. Как вы можете без нашего ведома и без нашего одобрения назначать нового премьер-министра... Оно (новое правительство Литвы. — Ю. У.) должно быть приемлемо для нас. Поэтому его состав вы должны согласовать с нами... Сегодня вылетит в Литву наш особый уполномоченный... Это с ним ваш президент и должен согласовать образование нового правительства. С ним и с товарищем Поздняковым (послом Советского Союза в Литве. — Ю. У.)».

Особый уполномоченный Деканозов в тот же день прилетел в Литву и взял в свои руки дело формирования нового правительства.

Таким образом, в конституционный порядок образования правительства вмешались вооруженные силы иностранного государства, занявшие край, карательный аппарат этого государства, явившийся вместе с армией, и присвоенное себе правителями этого государства «право» решающего слова при формировании правительства Литвы, то есть определении его персонального состава.

Кто это правительство и какими средствами образовал, тот теми же средствами направлял его к действиям, целью которых было скорейшее присоединение Литовского государства к Советскому Союзу, что и было исполнено с молниеносной быстротой.

Такова историческая истина.

Попытка В. Канцвичюса представить ее в ином свете, опираясь при этом на известные статьи Конституции Литвы, сущности июньских событий 1940 года изменить не может, тем более что этими статьями он оперирует по своему усмотрению.

Ведь если оценивать отъезд А. Сметоны за границу как отставку с должности президента, в силу вступает статья 72 Конституции, которая гласит, что «... до выборов Президента Республики и до тех пор, пока на него не будет возложено руководство государством, государство возглавляет Премьер-Министр. При руководстве государством Премьер-Министр обладает всеми полномочиями Президента Республики». Однако эти полномочия ограничивает статья 102 Конституции: «Когда Премьер-Министр после смерти или отставки Президента Республики руководит государством, он не исполняет обязанностей Премьер-Министра. Его обязанности в это время исполняет Заместитель Премьер-Министра». В данном конкретном случае обязанности премьер-министра должны были перейти к его заместителю К. Бизаускасу. Конституция не предоставляла права временному президенту образовывать новый состав правительства. Его действия в таком случае определялись статьей 68 Конституции: «В случае смерти или отставки Президента Республики выборы Президента Республики проводятся сразу же после его смерти или отставки».

В обязанности А. Меркиса, будь у него свобода действий, входило немедленное объявление выборов нового президента. Лишь вновь избранный президент мог законно назначить кого-либо премьер-министром, а тот — составить новое правительство.

Итак, перечисленные выше В. Канцвичюсом «требования и рекомендации об образовании нового (Народного) правительства» были выполнены, отнюдь не конституционным путем.

ТРЕТИЙ вывод автора: «Иностранные дипломатические представительства в Литве признали А. Меркиса законным заместителем президента. Они также признали утвержденное А. Меркисом 17 июня 1940 года правительство Ю. Палецкиса как конституционно законное правительство. Об этом они заявили во время представления министру иностранных дел нового правительства В. Креве-Мицквичюсу» (с. 149).

Прежде всего следует обратить внимание на последнюю фразу этой цитаты: «Об этом они заявили во время представления министру иностранных дел нового правительства В. Креве-Мицкявичюсу». Автор не указывает источника, из которого он позаимствовал это утверждение. Правомерно предположить, что это его частное мнение, не подкрепленное никакими позитивными данными.

С другой стороны, в компетенцию иностранных представителей не входит решать, законно или незаконно правительство страны аккредитования, образовано оно конституционным или неконституционным путем. Это сугубо внутреннее дело любого государства.

В. Канцявичюс далее рассказывал о том, что иностранные дипломаты «представлялись» некоторым лицам из нового правительства. Свой рассказ он основывает на сообщениях тогдашней каунасской печати. Возможно, все именно так и происходило, как он рассказывает, но делать из этого вывод — законно или незаконно, конституционным или неконституционным путем образовано новое правительство, — как мы убедились, нет юридических оснований. Разумеется, зарубежным представителям не терпелось узнать, что происходит в стране, и они сами наверняка искали контактов с вновь пришедшими людьми, хотели узнать у них, как понимать нагрянувшие события, дабы скорее информировать свои правительства о сложившемся положении.

Однако не следует упускать из виду и то обстоятельство, что печатью Литвы в те дни уже дирижировали Деканозов и его доверенные лица. В ней все явления изображались так, как того требовали интересы интервента и проводимая им политика.

Приведу небольшой пример. В. Канцявичюс пишет: «Ежедневная печать — «Льетувос Айдас», «Льетувос Жинёс» и другие газеты сообщили, что в среду (19 июня) до обеда новый министр иностранных дел проф. В. Креве-Мицкявичюс принял у бывшего министра иностранных дел Ю. Урбиса министерство и приступил к исполнению своих обязанностей. Новый министр вместе с бывшим по этому поводу обошел все отделы министерства и познакомился с заведующими» (с. 149).

Автор настоящего сочинения, упомянутый в только что процитированной фразе как участник этой мнимой церемонии, категорически заявляет, что акта приема-передачи министерства иностранных дел, в котором он бы участвовал, вообще в эти мрачные дни не существовало. Информация, следовательно, была плодом воображения.

Если из соображений дымовой завесы она была направлена в печать, то где гарантия, что другие сообщения тогдашней печати не были того же самого происхождения?

ДЕПОРТАЦИЯ. ТЮРЬМЫ

Пришлось срочно съехать со служебной квартиры, и мы с женой и с неожиданно выселенной из собственного дома — их дом забрали для занявших Литву советских войск — семьей писателя и педагога Пранаса Машётаса поселились в Качергине, на поспешно снятой квартире.

Вечером 16 июля мы с женой возвращались из леса и увидели затаившиеся у кустов, с потухшими фарами два или три новеньких, сверкающих сталью и черным лаком автомобиля «бьюик».

Когда отошли чуть подалее, жена вполголоса говорит:

— Опять за кем-то приехали. Так было и тем вечером, когда потом ночью увезли министра юстиции Тамошайтиса. А прошлой ночью, может, слышал, забрали редактора журнала «XX амжюс» Игнаса Скрупскаскаля.

Я знал обоих — это были благородные люди.

Вот так, значит, «обеспечивается добросовестное и лояльное выполнение Договора о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой», как сказано в ультиматуме от 14 июня. И — невмешательство во внутренние дела, внесенные в этот договор.

17 июля 1940 года. Солнечное утро. Взгляд в окно. Вокруг дачи стоят, словно на страже, советские солдаты, на плече винтовки с примкнутыми штывками. . . Вскоре во двор въезжают два из виденных накануне автомобилей.

— Приехали. . . — вздохнула мать жены Мария Машётене.

Входят трое или четверо в штатском. Один из них, как выяснилось позже, литовец — Гузявичюс, чтобы больше походило на «внутреннее дело», улаживаемое «самими литовцами».

Гузявичюс нерешительно — или мне так показалось — заявил, что я и моя жена выселяются в Советский Союз. И даже упомянул как будто какую-то статью какого-то закона. Сотрудники НКВД между тем велели собирать вещи, иронически поглядывали вокруг. Наткнувшись на плачущую Салюту, многолетнюю нашу хозяйку, «пошутили»:

— Что, жалко цепей? Впрочем, если хочешь, можем взять и тебя. . .

Едем — энкаведисты, жена и я в двух роскошных лимузинах, совсем как иностранные гости, по всей аллее Лайсвес, по всему

проспекту Витаутаса. . . У железнодорожного вокзала автомобили свернули вправо и повезли нас к составу, стоящему в отдалении на запасных путях.

Впустили в купе, внесли вещи и заперли.

Через час или больше послышался шум подъезжающих автомобилей, суматоха, в купе влетел часовой, занавесил окно. Все-таки удалось через щелочку подглядеть, что в тот же вагон ведут премьер-министра свергнутого ультиматумом правительства, заместителя президента республики Антанаса Меркиса, его жену и семнадцатилетнего сына. Их поместили в другой конец того же вагона. В проходе от потолка до пола висела штора, разделявшая вагон пополам.

Поезд тронулся. Подъехав с запасного пути к вокзалу, остановились. С платформы доносился гул публики.

Постояв отведенное время, паровоз жалобно загудел, дернул вагоны, те откликнулись, постукивая буферами.

Когда поезд выбрался из тоннеля, часовые отдернули занавеску на окне, предоставив нам с шемящей грустью смотреть на Нямунас. . .

С Богом, Литва. . .

* * *

Нас депортировали через Москву в Тамбов, но несколько дней мы провели в изоляции на подмосковной даче.

В Тамбове нам объявили наш «статус» — можно ходить по городу, за его пределы выходить запрещается, каждый понедельник отмечаться в НКВД.

Начались допросы, выясняли «секреты», взгляды, требовали давать показания о других людях, сыпались угрожающие намеки.

О бытовой стороне заботился НКВД.

Так — до 22 июня 1941 года. Поздним вечером этого дня приехал заместитель начальника местного НКВД с другими членами, все в форме и при оружии. Всю ночь напролет вели обыск, составляли опись вещей, писали протокол. Понятым при обыске и всей этой «церемонии» был свой для НКВД человек, дворник этого дома, бывший священник. При описи вещей он мне говорит:

— Отдайте мне этот костюм, вам он все равно больше не понадобится.

Я спросил у заместителя начальника, можно ли отдать. Тот позволил.

На рассвете жену и меня перевезли в тюрьму, где заперли в одиночные камеры.

Тамбов, Саратов, Москва, Киров, Горький, Иваново, Москва, Владимир — такими были этапы длившегося тринадцать лет тюремного «турне», моего и моей жены (каждого, разумеется, в отдельности и изолированно), одиннадцать лет — в одиночках. Без переписки и любых сношений с внешним миром.

В первую ночь в Тамбовской тюрьме — вторую ночь войны — меня подняли с нар и повели к начальнику НКВД Тамбовской области.

Просторная комната. За письменным столом сидит начальник. За другим — длинным, приставленным одним концом к письменному — другие сотрудники и секретарша. В комнате полумрак — действуют распоряжения о светомаскировке военного времени. Усаживают и меня в конце длинного стола.

Расспрашивают о встречах с Риббентропом и Гитлером — у первого довелось побывать во время отторжения Клайпедского края, а у второго — в мае того же 1939 года при подписании договора о торговом обороте между Литвой и Германией.

Рассказал. Длилось это недолго: ведь что можно сказать о диктате, о принуждении силой — взяли за горло и оторвали чрезвычайно важный кусок территории, при этом втирая очки всему миру, якобы все свершилось по доброму согласию между захватчиком и жертвой и что захватчик якобы ничего так не жаждет и не стремится ни к чему иному, как к миру между государствами и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству.

По поводу Клайпедского края, когда я был у Гитлера спустя два месяца после его захвата, — рассказываю дальше следователям, — тот как бы в оправдание медоточивым голосом заявил: Eine Großmacht konnte es nicht dulden («Великая империя не могла этого терпеть»).

Следователям мой рассказ показался слишком коротким и слишком простым, они заподозрили, что я скрываю какие-то заговоры и сделки.

Наконец спрашивают, к какой партии принадлежит генерал Винца Виткаускас (последний командующий армией независимой Литвы). Когда я не смог ответить и на этот вопрос, начальник сильно разгневался — как это я, будучи с ним в одном правительстве, не знаю, к какой партии принадлежит Виткаускас. Приказал увести меня в камеру.

(Окончание следует)

ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ В ЛАТВИИ



Национальный состав населения Латвии на 1935 год

Латыши	75%
Немцы	3,19%
Русские	10,59%
Белорусы	1,38%
Евреи	4,79%
Поляки	2,51%
Литовцы	1,17%
Остальные, в том числе неизвестные	0,87%

Средняя продолжительность жизни

Государства	Годы, к которым относятся сведения	мужчины	женщины
1	2	3	4
Норвегия	1920—1931	60,98	63,84
Дания	1931—1935	62,00	63,80
Голландия	1921—1930	61,19	63,33
Швейцария	1929—1932	59,25	63,05
Латвия	1934—1936	55,39	60,93
Эстония	1932—1934	53,12	59,60
Франция	1928—1933	54,30	59,02
Исландия	1925—1927	57,37	57,93
Чехословакия	1929—1932	51,92	55,18
Финляндия	1921—1930	50,68	55,14
Советская Россия	1920—1927	41,93	46,79
Болгария	1925—1928	45,92	46,64

ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ В ЛАТВИИ



Аптеки и больницы

Годы	Число санаториев и больниц	Число кроватных мест в больницах и санаториях	Количество больных в больницах и санаториях в конце года
1923—1927	103	7 172	—
1928—1932	138	10 782	7425
1933—1937	143	12 104	9018

Среди жителей Латвии старше 10 лет умели читать:

Национальность	1920 г.	1935 г.
Латыши	84,3%	92,1%
Немцы	94,6%	97,5%
Русские	43,9%	66,9%
Белорусы	41,1%	71,4%
Евреи	82,8%	90,0%
Поляки	68,8%	82,0%
Литовцы	64,6%	78,5%

Количество книг, изданных в Латвии

Год	Количество изданных книг	Количество книг, выпущенных на латышском языке
1921	719	635
1922	1 071	967
1925	1 818	1 559
1927	1 637	1 376
1929	1 804	1 407
1931	1 366	1 014
1934	1 282	1 122
1936	1 601	1 384

Из 100 новорожденных умирали на первом году жизни (1934—1936)

Румыния	18,3
Югославия	15,0
Литва	13,9
Польша	13,6
Чехословакия	12,5
Италия	10,0
Эстония	9,0
Латвия	8,5
Бельгия	7,7
Финляндия	6,9
Франция	6,8
Германия	6,7
Швейцария	4,7
Норвегия	4,2

Число частных и общественных публичных библиотек и количество книг, находящихся там

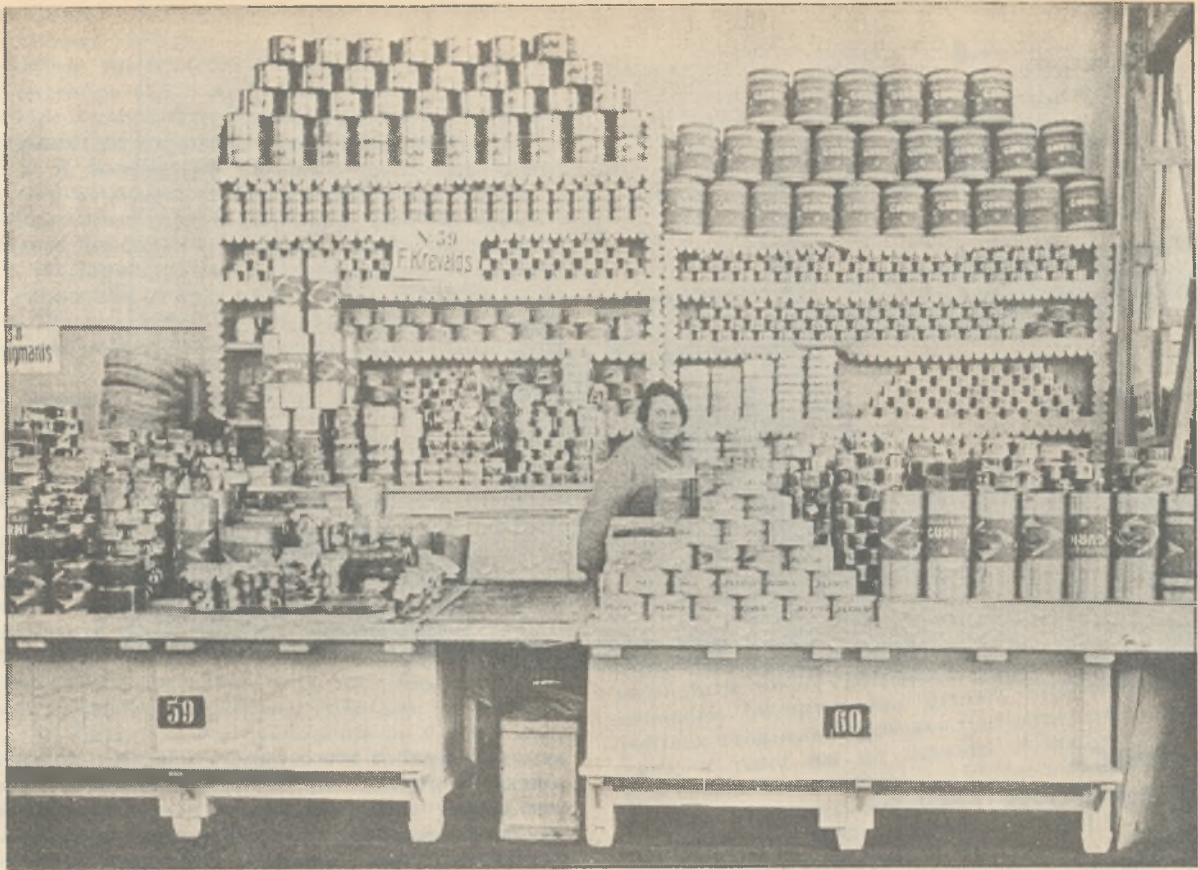
Год	Число библиотек	Количество книг в частных библиотеках (в тыс.)
1929	882	1,553
1933	955	1,827
1935	925	1,894
1937	912	2,119

Маргерс Скуениекс. Статистический атлас Латвии.



ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ В ЛАТВИИ





ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ В ЛАТВИИ





Небо над Ригой. 17 июня, 1940 год

«РИТС»
ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ 1940 г.
1-й ВЫПУСК

**ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛАТВИИ**

ЛТА. Москва. 17 июня. Опубликовано официальное заявление ТАСС о советско-латвийских и советско-эстонских отношениях.

16 июня Председатель Совета Народных Комиссаров СССР Молотов от имени правительства вручил послу Латвии Коциньшу следующее заявление правительству Латвии:

«На основании имеющихся в распоряжении Советского правительства фактических данных, а также состоявшегося в последнее время в Москве обмена мнениями между Председателем Совета Народных Комиссаров СССР Молотовым и Премьер-министром Литвы Меркисом, Советское правительство считает установленным, что правительство Латвии не только не ликвидировало военный союз с Эстонией, созданный еще до заключения Советско-Латвийского договора о взаимопомощи и направленный против СССР, но и расширило его, привлекло к этому союзу Литву и старается вовлечь в него Финляндию.

До заключения осенью 1939 года Советско-Латвийского договора о взаимопомощи Советское правительство еще могло смотреть сквозь пальцы на существование такого военного союза, хотя, по существу, он противоречил ранее заключенному между СССР и Латвией Пакту о ненападении. Но после заключения Советско-Латвийского договора о взаимопомощи Советское правительство считает существование направленного против СССР военного союза Латвии, Эстонии и Литвы не только не допустимым и нетерпимым, но и глубоко опасным и угрожающим безопасности границ СССР.

Советское правительство рассчитывало, что после заключения Советско-Латвийского договора Латвия выйдет из военного союза с другими прибалтийскими государствами и таким образом этот военный союз будет ликви-

дирован. Вместо этого Латвия вместе с другими прибалтийскими странами приступила к оживлению и расширению вышеупомянутого союза, о чем свидетельствуют такие факты, как созыв двух тайных конференций трех прибалтийских стран в декабре 1939 года и в марте 1940 года с целью формально создать расширенный военный союз с Эстонией и Литвой; укрепление в тайне от СССР связей между генеральными штабами Латвии, Эстонии и Литвы, создание в феврале 1940 года специального тайного органа милитаристской прибалтийской антанты — «Revue Baltique», издаваемого на английском, французском и немецком языках в Таллинне, и тому подобное.

Все эти факты говорят о том, что правительство Латвии грубо нарушило Советско-Латвийский договор о взаимопомощи, запрещающий обеим сторонам «заключать какие-либо союзы или участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон» (4 статья Договора). Это грубое нарушение Советско-Латвийского договора со стороны Латвии происходит в то время, когда Советский Союз проводил и продолжает проводить в высшей степени доброжелательную, определенно пролатвийскую политику, пунктуально исполняя требования Советско-Латвийского договора о взаимопомощи. Правительство СССР находит, что такое положение терпеть больше нельзя. Правительство СССР считает совершенно необходимым и безотлагательным следующее:

1) без промедления составить в Латвии такое правительство, которое бы смогло и было готово обеспечить честное претворение в жизнь Советско-Латвийского договора о взаимопомощи,

2) без промедления обеспечить свободный допуск советских войск на территорию Латвии, чтобы разместить их в наиболее важных центрах Латвии в количестве, достаточном для обеспечения возможности реализации Договора о взаимопомощи между СССР и Латвией и для предотвращения возможных провокационных актов против советского гарнизона в Латвии.

Советское правительство считает выполнение этих требований тем элементарным условием, без которого невозможно достичь честного и лояльного выполнения Советско-латвийского договора о взаимопомощи.

* * *

Далее в тексте, опубликованном в газете «Ритс», идет речь о советско-эстонских отношениях.

«Яунакас Зиняс»

Среда, 19 июня 1940 г.

В Ригу прибыл заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР А. Я. Вышинский.

Вчера вечером скорым поездом из Москвы в Ригу прибыл заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР А. Я. Вышинский. По поручению Президента на вокзале его встречали адъютант-полковник Луинис и министр иностранных дел В. Мунтерс. Прибыл также в полном составе персонал советского посольства во главе с послом В. К. Деревянским, а также руководящие лица советского гарнизона от всех родов войск. В тот же вечер заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров А. Я. Вышинский нанес визит в Рижском замке Президенту Улманису.

«Яунакас Зиняс»

Среда, 19 июня 1940 г.

Заявление посольства Советского Союза

Советское посольство в Риге сообщает:

«Во вчерашних газетах было опубликовано сообщение под заголовком «Шаги для поддержания порядка при вступлении советских войск в Ригу». В этом сообщении, между прочим, сказано, что поведение публики произвело нежелательное впечатление на советские войска, командование которых якобы обратилось к властям Латвии с просьбой устранить помехи продвижению войск.

Посольство СССР разъясняет, что с просьбами подобного рода командование советскими войсками не обращалось к властям Латвии, и это сообщение ни в коей мере не соответствует действительности.

Население не мешало продвижению войск и советское командование полностью удовлетворено сердечной встречей со стороны населения и приветствиями!»

Ультимативную ноту Латвийское правительство получило 16 июня в 13⁰⁰ по местному времени. Срок ноты истек в 20⁰⁰ того же дня. Выдвинутые в ноте обвинения правительства Латвии были абсолютно необоснованными. Несмотря на то, что между Латвией и Эстонией с 1923 года существовал военный союз и с 1934 года политическо-культурный союз между Литвой, Латвией и Эстонией (заключен в Женеве), мы не располагаем такими архивными материалами, которые бы свидетельствовали о реальном существовании военного союза направленного против Советского Союза. Что касается первых двух объединений, то они были официально фиксированы на международном уровне и вплоть до середины 1940 года СССР по этому поводу возражений не имел. Литва в Латвийско-Эстонский союз не входила, о чем наряду с нотой во всех газетах проинформировало ЛТА. Как в первом, так и во втором номере «Revue Baltique» (последний распространить не успели, потому что он вышел в июне) не было ни одной статьи милитаристского содержания. Этот журнал предназначался для укрепления политических, дипломатических и культурных связей между балтийскими государствами. Также на конференциях балтийских государств в декабре 1939 года и в марте 1940 года не обсуждалась возможность создания какого-нибудь дополнительного военного союза между балтийскими государствами. Тут стоит напомнить, что отношения между Латвией, Литвой и Эстонией по разным причинам, в том числе из-за политического единства, были довольно-таки противоречивыми. С точки зрения международного права требование СССР к суверенному государству сменить правительство было неприемлемым.

Этой нотой сталинское правительство СССР грубо нарушило не только многосторонние договоры (Парижский договор 1928 года и так называемый протокол Литвинова 1929 г.), но и двусторонние договоры между Латвией и РСФСР (позже СССР) начиная с заключенного в 1920 г. Мирного договора и кончая Договором о взаимопомощи от 5 октября 1939 года.

МАРТИНЬШ ВИРСИС
кандидат исторических наук

Армия Латвийской Республики к 1940 году не превышала 20 000 человек.

История Латвийской ССР, том 2, третья переработанная и дополненная издание под редакцией академика АН Латвийской ССР А. Дризулиса.

стр. 150—151 «Пытаясь удержать власть, фашистское правительство усилило террор против трудящихся. 17 июня полиция зверски расправилась с трудящимися Риги, которые вышли на улицы с приветствиями Советской армии. Полицейские избивали безоружных людей, стреляли по ним, их топтали всадники. Кровавая расправа продолжалась весь день, к тому же на помощь полиции были вызваны войсковые подразделения, а позже и айзсарги. Но террор не мог удержать могучего подъема революционного движения, это явно свидетельствовало о близком крахе фашистской диктатуры».

стр. 150—151 «... массовые выступления трудящихся имели место и в других местах Латвии. Сплоченное антифашистское движение трудящихся вынудило полностью обанкротившееся правительство отказаться от власти — фашистская диктатура пала. (...) С 17 июня 1940 года революционная ситуация в стране достигла кульминации».

стр. 153. «... То обстоятельство, что в Латвии находилась часть Красной Армии, не дало буржуазии возможности применить вооруженную силу для подавления массового революционного движения и получить помощь от западных империалистических держав (...) В борьбе за победу социалистической революции латвийские рабочие получили поддержку от первого социалистического государства в мире — Советского Союза.»

Э. Андерсонс «История Латвии 1920—1940. Внешняя политика» II, «Даугава». 1984.

стр. 445 «По сведениям британских военных наблюдателей, командование советских вооруженных сил ввело в Латвию около 20 000 военнослужащих, 1 000 танков и 500 самолетов. По сведениям немецких разведслужб в Латвии были размещены 6 стрелковых дивизий, 4 танковые бригады и 400 военных самолетов...»

стр. 446 «Все эти цифры противоречивы, надо иметь в виду то, что советские войска нигде не находились постоянно, они перемещались с одного места на другое. Значительная часть советских войск вскоре была переброшена к немецкой границе.»

N° 6

В этом году исполняется девяносто лет со дня рождения поэта и прозаика Константина Константиновича Вагинова (1899—1934). Поэзию Вагинова ценили Н. Гумилев, который, по словам Г. Адамовича, «всегда выделял его из числа слушателей, как отделяют поэта от ремесленника», М. Кузмин, О. Мандельштам. Вагинов состоял почти во всех группировках Петрограда-Ленинграда двадцатых годов от литературной студии Гумилева в Доме Искусства до обэриутов, но всюду стоял особняком. Его поэзия развивалась по своим собственным законам, пройдя путь от ностальгической романтики еще незрелого сборника «Путешествия в хаос» (1921), к предельной усложненности, насыщенных культурными реминисценциями стихов середины двадцатых, вошедших в сборники «Стихотворения» (1926) и «Опыты соединения слов посредством ритма» (1931), и придя в начале тридцатых к почти классической ясности — сборник «Звукоподобие», при жизни поэта не опубликованный. Центральной темой творчества Вагинова всегда оставалась тема искусства и его места в современном мире, необходимости сохранения даже в самые критические моменты истории, когда все вокруг рушилось и казалось безвозвратно, верности идеалам гуманизма.

Современники сопоставляли поэзию Вагинова с живописью Чурлениса, поэзией французских сюрреалистов, видели в его творчестве воскрешение символизма. Сам поэт определил свой подход к слову как «осмысление бессмыслицы». В романе «Козлиная песнь» (1928), во многом автобиографичном, он писал: «Поэзия — это особое занятие. Страшное зрелище и опасное, возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнешь над ними ночь сидеть, другую, третью, все над сопоставленными словами думаешь. И замечаешь: протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и третье слово руку подает, и поглощает тебя совершенно новый мир, раскрывающийся за словами».

В некрологе, появившемся 30 апреля 1934 года в газете «Литературный Ленинград», говорилось, что смерть Вагинова — потеря не только для его родных и близких, но и для всей советской литературы. Однако сразу после смерти поэта его творчество, далекое от социального заказа и воспевания «будней великих строек», было прочно забыто. Снова о Вагинове вспомнили лишь

в 60-е годы. Его имя стало изредка появляться в мемуарах, статьях, было опубликовано несколько подборок стихов. Но только сейчас лед по-настоящему тронулся. В издательствах Москвы и Ленинграда готовятся к переизданию его романы и собрание стихотворений.

В поэтическом наследии Вагинова до самого последнего времени оставалось немало белых пятен. Из неопубликованных сборников был относительно известен лишь «Звукоподобие», несколько стихотворений из которого появилось в ленинградской периодике в начале тридцатых годов. Почти полностью «Звукоподобие» было опубликовано покойным Г. Шмаковым и Д. Малмстадом в парижском альманахе «Аполлон-77». В архиве знаменитого ленинградского библиофила М. С. Лесмана хранится рукописный сборник Вагинова «Петербургские ночи». Книга должна была выйти в феврале 1922 года, но отсутствие у автора средств помешало ее появлению. Вагинов возлагал на этот сборник большие надежды: «В книге отражается Петербург не современный, а надеюсь, и вечный, его одинокая борьба и жизнь одного из его жителей» — писал поэт в письме к другу. Частично «Петербургские ночи» были опубликованы в «Собрании стихотворений» Вагинова, составленным Л. Чертковым (Мюнхен, 1982) — на сегодняшний день самым полным корпусом поэтических текстов Вагинова. Мы предлагаем читателю ряд стихотворений из «Петербургских ночей», никогда не публиковавшихся, любезно предоставленных в наше распоряжение вдовой М. С. Лесмана — Н. Князевой-Лесман. В некоторых из представленных стихов Вагинов впервые обращается к античной теме, сыгравшей важную роль в его последующем творчестве; содержатся в нашей подборке и стихи, проясняющие малоизвестные эпизоды биографии поэта.

В архиве М. С. Лесмана хранится и рукописный сборник Вагинова «Кликалице благоутешное», датированный маем 1926 года. Десять стихотворений из «Кликалицы» вошли в вышедший в том же году сборник «Стихотворения», три не вошедших публикуются впервые.

ТАТЬЯНА НИКОЛЬСКАЯ

КОНСТАНТИН ВАГИНОВ

Из сборника «Петербургские ночи»

* * *

Снова утро. Снова кусок зари на бумаге.
Только сердце не бьется. По-видимому устало.
Совсем не бьется... даже испугался,
Упал.

Стол направо — дышит, стул налево — дышит.
Смешно! а я не смеюсь.
Успокоился.

* * *

Бегает по полю ночь.
Никак не может в землю уйти.
Напрягает ветви дуб
Последним сладострастьем.

А я сажу с куском Рима в левой ноге.
Никак ее не согнуть.
Господи!

* * *

Прохожий обернулся и качнулся,
Над ухом слышит он далекий шум дубрав,
И моря плеск и рокот струнной славы,
Вдыхает запах слов и трав.

«Почудилось, наверное, почудилось!
Асфальт размяк, нагрело солнце плешь!»
Я в капоре иду, мои седые кудри
Белей зари и холодней чем снег.

* * *

Рыжеволосое солнце, руки к тебе я подъямлю,
Белые ранят лучи, не уходи я молю.
А по дощатому полу мать моя белая ходит,
Все говорит про Сибирь, про полянку и снег.

Я занавесил все окна, забил подушками двери,
Над головой тишина, падает пепел как гром.
Снова в дверях города и волнуются желтые Нивы
И расконое солнце в небе протяжно поет.

* * *

У каждого во рту нога его соседа.
А степь сияет. Летний вечер тих.
Я в мертвом поезде на Север еду, в город,
Где солнце мертвое, как лед блестит.

Мой путь спокоен, улеглись волнения,
Не знаю, встретит мать? пожмет ли руку?
Я слышал город мой стал иноком спокойным,
Торгует свечками, поклоны льет.

Да говорят еще, что корабли приходят,
Теперь приходят, когда город пуст.
Вино и шелк из дальних стран привозят
И опьяняют мертвого и одевают в шелк.

Эх, кочегар, спеши, спеши на север!
Сегодня ночь ясна. Как пахнет трупом ночь!
Мы мертвые, Иван, над нами всходит клевер,
Немецкий колонист ворочает гумно.

* * *

Ты помнишь круглый дом и шорох экипажей?
Усни мой дом, усни...
Не задрожит рояль и путь иной указан,
И белый голубь плавает над ним.

Среди домов щербатых кузов от рояля,
Средь снежных гор неизреченный свет
И гефсиманских бед мерцают снова пальмы,
Усни мой дом, усни на много лет.

* * *

Да были крутолобые тонкорунные козы.
Женщин разных не надо, Лиду я позабыл.
Знаю в Дельфах пророчили гибель Эллады,
Может Эллада погибла, но я не погиб.

Юноши в кольцах пришли, звали на пир в Эритрею,
Лидой меня соблазняли — плачет, тоскует она...
Что же, пусть плачет, найдет старика и забудет.
Я молодой — крашенных жен не люблю.

Вера носи виноград, но зачем христианское имя?
Лучше Алкменю будь мы покорились судьбе.
Слышишь ликует Олимп, веселятся добрые Боги.
Зевс Небожитель ссорится с Герой опять.

* * *

Слава тебе, Аполлон, слава!
Сердце мое великой любовью полно.
Вот я сижу молодой, и рокоют дубравы,
Зреют плоды наливные, и день голосит!

Жизнь полюбил, не страшны мне вино и отравы,
День отойдет, вечер спокойно стучит,
Слабым я был, но теперь сильнее быка молодого,
Девушка добрая тут, что же мне надо еще!

Пусть на хладных берегах, взвизгах сырого заката,
Город погибнет, где был старцем беспомощным я.
Снял я браслеты и кольца, не крашу больше ланиты,
По вечерам слушаю пение муз.

Слава тебе, Аполлон, слава!
Тот распятый теперь не придет.
Если придет, вынесу хлеба и сыра,
Слабый такой, пусть подкрепится дружок.

* * *

На лестнице я как шаман
Стал духов вызывать
И появились предо мной
И стали заклинать:
«Войди в наш мир,
Ты близок нам,
Уйди от снов земли,
Твой прах земной
Давно истлел».

Пусть стянут вниз
Лишь призрак твой,
Пусть ходит он среди них,
Как человек, как человек, молчащий человек.
И хохотали духи зло.
У лестницы толпа
Тянула вниз, тянула вниз
Мой призрак, хлопоча.

* * *

Ангел ночной стучит, несется
По отвратительной тропинке,
Между качающихся рожек:
«Пусть мы несчастны, размечает,
Должны подруг мы охранить
И вопль гармонии ужасной
Снянем света охватить».
И ноги сгибнувшей подруги
Он плача лобызать готов.
Вот дверь открылась
И с цветами идет мне сон свой рассказать.
И говорит: «ты бледен странно,
Идем на кладбище гулять».
Вокруг могилки и цветочки,
И крестики и бузина,
И по могилкам скачут дети
И сердцевины трав едят.
И силюсь увести подругу
Под опьяняющую ночь.
Столбы ограды забиваю,
Краду деревья-расставляю,
И здание сооружаю.
И снится ей, что мы блуждаем
Как брат с сестрой,
Что позади остался свист пустынной ямы,
Что вечно существуем мы.

* * *

Звук О по улицам несется,
В домах затушены огни,
Но человека мозг не погасает
И гоголем стоит.
И удивляются ресницы:
«Почто воскреснул ты,
Иль на небе горят зеницы
И в волосах — цветы».
В венках фиалковых несется
Веселый хоровод:
«Пусть дьяволами нас считает
Честной народ.
В пустыне мы,
Но сохраняем
Свои огни.
И никогда мы не изменим,
Пусть нас костят орлы.
Пусть будем жаждою томиться
И голодать.
К скале прикованный над нами
Прообразом висишь,
Твои мы дети и иначе
Не можешь поступить».

М. АГЕЕВ

РОМАН С КОКАИНОМ

ГИМНАЗИЯ

Буркевиц отказал

1.

Однажды, в начале октября, я — Вадим Масленников (мне шел тогда шестнадцатый год), рано утром, уходя в гимназию, забыл с вечера еще положенный матерью в столовой конверт с деньгами, которые нужно было внести за первое полугодие. Вспомнил я об этом конверте, уже стоя в трамвае, когда — от ускоряющегося хода — акации и пики бульварной ограды из игольчатого мелькания вошли в сплошную струю, и нависавшая мне на плечи тяжесть все теснее прижимала спину к никелированной штанге. Забывчивость моя, однако, нисколько меня не беспокоила. Деньги в гимназию можно было внести и завтра, в доме же стащить их было некому; кроме матери в квартире жила за прислугу лишь старая нянька моя Степанида, бывшая в доме уже больше двадцати лет, и единственной слабостью, а может быть даже страстью которой были её непрерывные звонки, как щелканья подсолнухов, шушуканья, при помощи которых за неимением собеседников вела она сама с собой длинные разговоры, а подчас даже и споры, изредка прерывая себя громкими, в голос, восклицаниями, как-то: «ну-да!» или «еще бы!» или «открывай карман шире!». В гимназии же я об этом конверте и вовсе забыл. В этот день, что впрочем отнюдь не часто случалось, уроки были не выучены, готовить их приходилось частью за время перемен, частью даже тогда, когда преподаватель находился в классе, и это жаркое состояние напряженности внимания, в котором все с такой легкостью усваивалось (хоть и с такой же легкостью, спустя день, забывалось), весьма способствовало вытряхиванию из памяти всего постороннего. Тогда, когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и солнечной погоды, выпускали во двор и на нижней площадке лестницы, я увидел мать, то тогда только вспомнил про конверт и про то, что видно она не стерпела и принесла его с собой. Мать однако стояла в сторонке в своей облысевшей шубенке, в смешном капоре, под которым висели седые волосики (ей было тогда уже пятьдесят семь лет), и с заметным волнением, как-то еще больше усиливавшим ее жалкую внешность, беспомощно вглядывалась в бегущую мимо ораву гимназистов, из которых некоторые, смеясь, на нее оглядывались и что-то друг другу говорили. Приблизившись, я хотел было незаметно проскочить, но мать, завидев меня и сразу засветясь ласковой, но не веселой улыбкой, позвала меня — и я, хоть мне и было ужас как стыдно перед товарищами, подошел к ней. — Вадичка, мальчик, — старчески глухо заговорила она, протягивая мне конверт и желтенькой ручкой боязливо, словно она жглась, касаясь пуговицы моей шинели; — ты забыл деньги, мальчик, а я думаю испугается, так вот — принесла. Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но в ярости за причиненный мне позор, я ненавидящим шепотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, и что уж коли не стерпела и деньги принесла, так пусть и сама платит. Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустил старые свои ласковые глаза, — я же, сбегав по уже опустевшей лестнице и открывая тугую, шумно сосушающую воздух дверь, хоть и оглянулся и посмотрел на мать, однако, сделал это не потому вовсе, что мне стало ее сколько

нибудь жаль, а всего лишь из боязни, что она в столь неподходящем месте расплачется. Мать все так же стояла на верхней площадке и, печально склонив свою уродливую голову, смотрела мне вслед. Заметив, что я смотрю на нее, она помахала мне рукой и конвертом так, как это делают на вокзале, и это движение, такое молодое и бодрое, только еще больше показало, какая она старая, оборванная и жалкая.

На дворе, где ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, — что это за шут гороховый в юбке, с которым я только что беседовал, — я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая гувернантка, что пришла она ко мне с письменными рекомендациями, и, что если угодно, то я с ней познакомлю: они смогут за ней не без успеха поухаживать. Высказав все это, я, не столько по сказанным мною словам, сколько по ответному хохоту, который они вызвали, почувствовал, что это слишком даже для меня и что говорить этого не следовало. Когда же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь стать еще меньше, быстро, как только могла, стукая стоптанными, совсем кривыми каблукками, прошла по асфальтовой дорожке к воротам, — я почувствовал, что у меня болит за нее сердце.

Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго, причем отчетливое ее иссякание, и значит полное исцеление мое от этой боли произошло как бы в два приема, когда я, вернувшись из гимназии домой, вошел в переднюю и прошел по узкому коридорчику нашей бедной квартирки, где шибко пахло кухней, к себе в комнату — боль эта, хоть и перестав уже болеть, все еще как-то напоминала о том, как она час тому назад болела; и дальше, когда, придя в столовую, я сел к столу и передо мною села мать, разливая суп, — боль эта меня уже не только не беспокоила, но мне даже и представить себе было трудно, что она когда-либо могла меня тревожить.

Но только я почувствовал себя облегченным, как множество злобных соображений начали волновать меня. И то, что такой старой старухе надобно понимать, что она только срамит меня своей одеждой, — и то, что незачем ей было шляться в гимназию с конвертом — и то, что она заставила меня лгать, что лишила меня возможности пригласить к себе товарищей. Я смотрел, как она ела суп, как, поднимая ложку дрожащей рукой, проливала часть обратно в тарелку, я смотрел на ее желтые щечки, на морковный от горячего супа нос, видел, как она после каждого глотка беловатым языком слизывает жир, и остро и жарко ненавидел ее. Почувствовал, что я смотрю на нее, мать, как всегда нежно, взглянула на меня своими выцветавшими карими глазами, положила ложку и, будто этим своим взглядом понуждаемая хоть что-нибудь сказать, — спросила: вкусно? Она сказала это словно с подыгрыванием под ребенка, при этом с вопрошающим утверждением мотнув мне седой головкой. — Ффкюснэ, — сказал и я, не подтверждая и не отрицая, а передразнивая ее. Я произнес это ффкюснэ с отвращающей гримасой, словно меня сейчас вытошнит, и наши взгляды — мой холодный и ненавидящий, — ее, теплые, открытый внутрь и любящий, встретились и слились. Это продолжалось долго, я отчетливо видел, как взгляд её добрых глаз тускнеет, становится недоумевающим, потом

горестным, — но чем очевиднее становилась мне моя победа, тем менее ощутимым и понятным казалось то чувство ненависти к этому любящему и старому человеку, силой которого эта победа достигалась. Вероятно, поэтому-то я и не выдержал, первым опустил глаза и взял ложку и начал есть. Но когда внутренне примиренный, желая сказать что-то ничего незначащее, я снова поднял голову, то уже ничего не сказал и невольно вскопился. Одна рука матери с ложной супа лежала прямо на скатерти. На ладонь другой, подпертой локтем о стол, она положила голову. Узкие губы ее, перекосив лицо, взбирались на щеку. Из коричневых впадин закрытых глаз, веерами тянувших морщины, текли слезы. И столько беззащитности было в этой желтой, старенькой головке, столько незлобиво горького горя, и столько безнадежности от этой никому ненужной теперь ее гадкой старости, — что я, все косясь на нее, уже подозрительно грубым голосом сказал — ну, не надо, — ну, брось, — ведь не о чем, — и хотел было уже прибавить — мамочка — и может быть даже подойти и поцеловать ее, как в этот самый момент с внешней стороны, с коридора, нянька, балансируя на одном валенке пнула другим в дверь и внесла блюдо. Не знаю, для кого это уж и зачем, но только тут же я хватил кулаком по тарелке, и болью пораненной руки и облитыми супом брюками, окончательно уверованный в своей правоте, справедливости которой как-то туманно подкреплялась чрезвычайным испугом няньки, — я, грозно выругавшись, пошел к себе в комнату.

Вскоре после этого мать оделась, куда-то ушла и вернулась домой лишь под вечер. Заслышав, как она прямо из передней простучала по коридору к моей двери, постучала и спросила — можно, — я бросился к письменному столу, поспешно раскрыв книгу и, сев спиной к двери, скудно сказал — войди. Пройдя комнату и нерешительно подойдя ко мне сбоку, причем я, будто углубленный в книгу, видел, что она еще в шубке и в черном своем смешном капоре, мать, вынув руку из-за пазухи, положила мне на стол две смятых, словно желающих стыдливо уменьшиться, пятирублевых бумажки. Погладив затем своей скрюченной ручкой мою руку, она тихо сказала: — Ты уж прости меня, мой мальчик. Ты ведь хороший. Я знаю. И, погладив меня по волосам и чуть призадумавшись, будто еще что-то хотела сказать, но, не сказав ничего, мать на цыпочках вышла, тихонько прищелкнув за собою дверь.

2.

Вскоре после этого я заболел. Первый мой немалый испуг был, однако, тотчас приутешен деловитой веселостью врача, адрес которого я наугад выискал среди объявлений венерологов, заполнявших в газете чуть ли не целую страницу. Свидетельствуя меня, он совершенно так же, как наш словесник, когда получал неожиданно хороший ответ от скверного ученика, в почтительном удивлении расширил глаза. Похлопав затем меня по плечу, он тоном не утешения — это меня бы расстроило, — а спокойной уверенности своей силы, добавил: — не горюйте, юноша, за один месяц все поправим.

Вымыв руки, написав рецепты, сделав мне необходимые указания и взглянув на рубль, положенный мною неловко косо и потому звеневший все утачаюсь и уж прямо переходя в дробь, по мере того, как он ложился на стеклянном столе, — врач, вкусно колупнул в носу, отпустил меня, предупредив при этом со столь не шедшей к нему хмурой озабоченностью, — что быстрота моего выздоровления, как и мое выздоровление вообще, всецело зависят от точности моих посещений, и что самое лучшее, если я буду приходить ежедневно.

Несмотря на то, что уже в ближайшие дни я убедился, что эти ежедневные посещения отнюдь не являются необходимостью, и что со стороны врача это обычный прием, чтобы участить звенение моего рубля в его кабинете, я все же ходил к нему ежедневно, ходил просто потому, что это доставляло мне удовольствие. Было в этом ко-

ротконогом, толстом человечке, в его сочном баске, словно съел он что-то вкусное, в складках его жирной шеи, напоминавших велосипедные, друг на друга положенные шины, в его веселых и хитрых глазках, вообще во всем его обращении со мной что-то шутиливо похваляющееся, одобряющее и еще что-то трудно уловимое, но такое, что мне приятно льстило. Это был первый уже в летах и следовательно «большой» человек, который видел и понимал меня как раз с той стороны, с которой я себя тогда хотел показать. И я ходил к нему ежедневно, не ради него, не как к врачу, а как к приятелю, первое время даже с нетерпением дожидался назначенного часа, надевая при этом, как на бал, новую тужурку, брюки и лакированные лодочки.

В эти дни, когда, желая установить за собою репутацию эротического вундеркинда, я рассказал в классе, какой я болел болезнью (я сказал, что болезнь прошла, в то время как она только начиналась), в эти дни, когда я нисколько не сомневался, что, рассказав подобное — я весьма выигрываю в глазах окружающих, — в эти-то дни и совершил я этот ужасный проступок, следствием которого была искалеченная человеческая жизнь, а, может быть, даже и смерть.

Недели через две, когда внешние признаки болезни поослабли, но когда я очень хорошо знал, что все еще болен, — я вышел на улицу, думая пройтись или пойти в киношку. Был вечер, была середина ноября, — это изумительное время. Первый пушистый снег, словно осколки мрамора в синей воде, медленно падал на Москву. Крыши домов и бульварные клумбы вздуло голубыми парусами. Копыта не цокали, колеса не стучали, и в стихнувшем городе по-весеннему волновали звоны трамваев. В переулке, где я шел, я нагнал шедшую впереди меня девушку. Я нагнал ее не потому, что хотел этого, а просто потому лишь, что шел быстрее ее. Но когда поровнявшись и обходя ее, я провалился в глубокий снег, — то она оглянулась, и наши взгляды встретились, а глаза улыбнулись. В такой жаркий московский вечер, когда падает первый снег, когда щеки в брусничных пятнах, а в небе седыми канатами стоят провода, в такой же вечер где же взять эту силу и хмурость, чтобы уйти промолчав, чтобы никогда уже не встретить друг друга.

Я спросил, как ее зовут и куда она идет. Ее звали Зиночкой и шла она не «куда», а «просто так себе». На углу, куда мы подходили, стоял рысак; санки высокие — рюмочкой, громадная лошадь была прикрыта белой попоной. Я предложил прокатиться, и Зиночка, блестя на меня глазами, губы пуговкой, по-детски часто-часто закивала головой. Лихач сидел боком к нам, нырнув в выгнутый вопросительным знаком передок саней. Но, когда мы подошли, чуть ожил, и ведя нас глазами, словно целился в движущуюся мишень, хрипло выстрелил: — пажа, пажа, я вас катаю. И, видя, что попал и что нужно взять подстреленных, вылез из саней и безногий, зеленый и громадно-величественный, в белых перчатках с детскую голову, в усеченном онегинском цилиндре с пряжкой, подходя к нам, добавил, — прикажите прокатить на резвой, ваше благородие.

Теперь началось мучительное. В Петровский парк и обратно в город он запросил десять рублей, и, хотя у «его благородия» в кармане было всего пять с полтиной, — я не задумываясь сел бы, полагая в те годы любое мошенничество меньшим позором, чем необходимость торговаться с извозчиком в присутствии дамы. Но положение спасла Зиночка. Сделав возмущенные глазки, она решительно заявила, что цена эта неслыханная и чтобы больше зелененькой я бы не смел ему давать. И при этом, держа меня за руку, тащила прочь. Она меня тащила прочь, — я же уходя слегка упирался, этим упиранием как бы снимая с себя и перенося на Зиночку всю стыдность положения. Выходило так, будто я здесь ни при чем, и уж, конечно, готов заплатить любую цену.

Пройдя шагов с двадцать, Зиночка через мое плечо с вороватой осторожностью оглянулась, и, завидя, что попо-на спешно снимается с лошади, — она, чуть не визжа от

восторга, заходя мне навстречу и становясь на цыпочки, восторженно шептала: — он согласен, он согласен (она бесшумно зааплодировала), — он сейчас подает. Вы теперь видите, какая я умница (она все старалась заглянуть мне в глаза), видите, правда, ага!

Это «ага» очень для меня приятно звучало. Выходило так, будто я, элегантный кутила, богач и мот, а она, бедная и нищая девочка, сдерживает меня в моих тратах, и не потому, конечно, что траты эти мне не по силам, а потому лишь, что в тесном кругозоре своего нищенства, она, беденькая, не может постигнуть допустимости таких трат.

У следующего перекрестка лихач нагнал нас, перегнал и, сдерживая рвущего рысака, как руль справа налево дергая возжи и ложась на сани спиной, отстегнул полость. Усаживая Зиночку и медленно, хоть и хотелось спешить, переходя на другую сторону, я взобрался на высокое и узенькое сиденье, и, заложив тугую бархатную петлю за металлический палец, обняв Зиночку и крепко, словно собираясь драться, потянув за козырек, гордо сказал: — трогай.

Раздался ленивый поцелуйный звук, лошадь чуть дернула, сани медленно поползли, и я уже чувствовал, как во мне все дрожит от извощичьего этого издевательства. Но когда через два поворота выехали на Тверскую-Ямскую, лихач вдруг подобрал возжи и крикнул — ээп, — где острое и стальное «э» пронзительно поднималось вверх, пока не ударило в мягкую заграду, не пускающую дальше «п». Сани страшно дернуло, нас бросило назад с поднятыми коленями и тотчас вперед лицом в ватную спину. А навстречу уже мчалась вся улица, мокрые снежные канаты больно стегали по щекам, по глазам, — на мгновенья лишь встречные зывали трамваи, и снова эп, эп, — но остро и отрывисто, как хлыст, и потом с радостно злобным бляением — балуууу, и черные вспышки встречных саней с мучительным ожиданием оглобли в морду, и чок, чок, чок, звенели броски снега с копыт о металлический передок, и дрожали сани, и дрожали наши сердца. — Ах, как хорошо, — шептал подле меня в мокром хлещущем дожде детский, восторженный голосок. — Ах, как чудно, как чудно. И мне тоже было «чудно». Только, как всегда, я всеми силами упирался и противился этому разбушевавшемуся во мне восторгу.

Когда промахнули Яр и стала видна вышка трамвайной станции и заколоченная кондитерская будка, у проезда к кругу лихач прилег на нас спиной и, туго осаживая лошадь, отрывисто припевал кротким бабьим голоском — пр... пр... пр... Шагом въехали в проезд, снег сразу перестал и только вокруг одинокого желтого фонаря он вяло летал и не падал, словно там вытряхивали перину. За фонарем в черном воздухе стояла вывеска на столбах, а рядом с ней кулак с вытянутым указательным пальцем, в манжете и с кусочком рукава, косо приколоченный к дереву. По пальцу ходила ворона, ссыпая снег.

Я спросил Зиночку, не холодно ли ей. — Мне чудно, — сказала она, — ведь правда, это чудно, а? Вот возьмите погрейте мне ручки. Я отклеил от ее талии шибко ноющую в плече руку. С козырька текло на щеку и за воротник, наши лица были мокры, подбородок и щеки так морозно стянуло, что говорить приходилось с лицом неподвижным, брови и ресницы клеились в ледяных сосульках, плечи, рукава, грудь и полость открыла ледяная похрустывавшая корочка, пар от нас и от лошади шел, будто в нас кипело, а щеки у Зиночки стали уже такими, словно наклеили ей красную яблочную кожуру. На пустынном кругу было все белое и голубое, и в этом белом и голубом, в их нафталиновом блеске, в этой неподвижной, точно комнатной тишине, я увидел свою тоску. Мне вспомнилось, что через несколько минут мы будем в городе, что надо вылезать из саней, идти домой, возиться с трясной болезнью, а завтра в темноте вставать, и мне перестало быть чудно.

Странно было в моей жизни. Испытывая счастье, достаточно было только подумать о том, что счастье это ненадолго, как оно в тоже мгновение кончалось. Кончалось ощущение счастья не потому вовсе, что внешние условия,

создавшие это счастье, обрывались, а лишь от сознания того, что внешние условия эти весьма скоро и непременно оборвутся. И как только являлось мне это сознание, так в то же мгновение счастья уже больше не было, — а создавшие это счастье внешние условия, которые все еще не обрывались, все еще продолжали существовать — уже только раздражали. Когда выехали с круга обратно на шоссе, мне уже жалалось только одного: скорее быть в городе, вылезть из саней и расплатиться.

Обратно ехать было холодно и скучно. Но, когда подъехав к Страстному, лихач, обернувшись, спросил: — ехать ли дальше и куда, — то, вопросительно взглянув на Зиночку, я сразу почувствовал, как сердце мое привычно и сладко остановилось. Зиночка смотрела мне не в глаза, а на мои губы тем свирепо бессмысленным взглядом, смысл которого мне хорошо был известен. Привстав на счастливо затрясшихся коленях, я на ухо сказал лихачу, чтобы вез к Виноградову.

Было бы совершенной неправдой сказать, что за эти несколько минут, которые потребовались, чтобы доехать до дома свиданий, меня несколько не беспокоило, что я болен, и что собираюсь Зиночку заразить. Тесно прижимая ее к себе, я даже не переставал об этом думать, но, думая об этом, — страшился не ответственности перед самим собой, а только тех неприятностей, которые за такой проступок могут нанести другие. И как это почти всегда в таких случаях бывает, такая боязнь, несколько не сдерживая от совершения проступка, только побуждала свершить его так, чтобы никто не узнал о виновнике.

Когда сани стали у этого рыжего с законопаченными окнами дома, я попросил лихача въехать внутрь. Чтобы въехать в ворота, нужно было подать сани назад к бульварной ограде, — но когда мы были уже в воротах, полосья, шипнув, врезались в асфальт, сани стали поперек тротуара, и эти несколько секунд, пока взяла лошадь и рывком внесла нас во двор, случившиеся здесь прохожие обходили сани и с любопытством разглядывали нас. Двое даже остановились и это заметно повлияло на Зиночку. Она как-то сразу отстранилась, стала чужой и обиженно беспокойной.

Пока Зиночка, сойдя с саней, отошла в темный угол двора, — я, расплачиваясь с лихачем, который настоятельно требовал прибавку, с неприятностью вспоминал, что у меня остается только два с половиной рубля, и что, возможно, если дешевые комнаты будут заняты, мне не хватит пятидесяти копеек. Заплатив лихачу и подойдя к Зиночке, я уже по одному тому, как она шибко теребила сумочку и возмущенно дергала плечиком, — почувствовал что так, сейчас, с места — она не пойдет. Лихач уже уехал и от круто повернутых саней оставил проутюженный круг. Те двое любопытных, что остановились при нашем въезде, теперь зашли во двор, стояли поодаль и наблюдали. Став к ним спиной так, чтобы Зиночка их не видела, обняв ее за плечики и обзывая ее и крошкой, и маленькой, и девочкой, я говорил ей слова, которые были бы лишены всякого смысла, если бы не произносились елейным голоском, звук которого, как-то сам по себе, сделался сладок как патока. Почувствовав, что она сдается, что становится прежней Зиночкой, хоть и не той, что так страшно (как мне показалось) глянула на меня у Страстного, — а той, что в парке говорила «чудно, ах, как чудно», — я нескладно и сбивчиво начал говорить ей о том, что у меня в кармане целых сто рублей, что здесь их не разменяют, что мне нужны пятьдесят копеек, что через несколько минут верну их, что... Но Зиночка, не дав мне договорить, с пугливой поспешностью быстро-быстро раскрыла свою старенькую клеенчатую под крокодил сумочку, достала крохотный кошелечек и вывернула его над моей ладонью. Я увидел горстку крошечных серебряных пятак, бывших как бы некоторой редкостью, и вопросительно взглянул на Зиночку. — Их как раз десять, успокаивающе сказала она, и потом, жалко съездившись, как бы извиняясь, стыдливо добавила: — очень долго я их все собираю; говорят, они к счастью. — Но, крошка, — возразил я в бледном возмущении, — это право тогда жаль. Возьми

их, я обойдусь. Но Зиночка, уже по-настоящему сердясь, морщилась от усилия замкнуть ручками мою ладонь. — Вы должны взять, — говорила она. — Вы должны. Вы меня обидите.

Пойдет или не пойдет, пойдет или откажет. — Вот было то единственное, что волновало мои мысли, мои чувства, все мое существо, в то время как я, как бы невзначай, подводил Зиночку к гостиничному подъезду. Взойдя на первую ступень, она, словно очнувшись, остановилась. В тоске глянула на открытые ворота, где все еще, точно не пропускавшие стражи, стояли те двое; потом, как перед расставанием, взглянула на меня, улыбнулась жалко и, опустив голову, вся как-то сгорбившись, закрыла лицо руками. Высоко, у самой подмышки крепко схватив ее за руку, я втащил ее вверх по лестнице и протолкнул в услужливо раскрытую швейцаром дверь.

Когда через час, или сколько там, мы снова вышли, то еще во дворе я спросил Зиночку, в какую ей сторону надо идти, чтобы обозначить свой дом в направлении противоположном, тут же у ворот навсегда с ней распрощаться. Так поступалось всегда по выходе от Виноградова.

Но если к таким расставаниям навсегда меня обычно побуждала сытая скука, а подчас и гадливость, — чувства, которые (хоть я и знал, что через день пожалею) мешали поверить, что завтра эта девочка снова сможет стать желанной, — то теперь, отсылая Зиночку, я испытывал только досаду.

Я испытывал досаду, потому что в номере, за перегородкой, зараженная мною Зиночка не оправдала надежд, продолжая оставаться все той же восторженной и потому бесполой, как и тогда, когда говорила — ах, как чудно. Раздетая, она гладила мои щеки, приговаривая — ах, ты моя любонька, ты моя лапочка, — голосом, звеневшим детской, ребяческой нежностью, — и нежность эта, не кокетливая, нет, а душевная, — совестила меня, не позволяя целиком высказать себя в том, что принято называть бесстыдством, хоть это и ошибочно, ибо главная и жаркая прелесть человеческой порочности — это преодоление стыда, а не его отсутствие. Сама того не зная, Зиночка мешала скоту преодолеть человека, и потому теперь, чувствуя неудовлетворенность и досаду, я все это происшествие обозначал одним словом: зря. Зря я заразил девчонку — думал и чувствовал я, но это зря понимал и чувствовал так, словно совершил дело не только не ужасное, а даже напротив, как бы принес какую-то жертву, ожидая взамен получить удовольствие, которого вот не получил.

И только когда уже стоя в воротах, Зиночка, чтобы не потерять, заботливо запрятала клочок бумажки, на котором я записал будто бы свое имя и первый взбредший мне номер телефона, — только, когда попрощавшись и поблагодарив меня, Зиночка стала от меня уходить, — да, только тогда внутренний голос, — но не тот самоуверенный и нахальный, которым я в своих воображениях, лежа на диване, мысленно обращался ко внешнему миру, — а спокойный и незлобивый, который беседовал и обращался только ко мне самому, — заговорил во мне. — Эх, ты, — горько говорил этот голос, — погубил девчонку. Вон смотри, вон она идет, этот малыш. А помнишь, как она говорила — ах, ты моя любонька? И за что погубил? Что она тебе сделала? Эх ты!

Удивительная это вещь — удаляющаяся спина несправедливо обиженного и навсегда уходящего человека. Есть в ней какое-то бессилие человеческое, какая-то жалкая слабость, которая просит себя пожалеть, которая зовет: которая тянет за собою. Есть в спине удаляющегося человека что-то такое, что напоминает о несправедливостях и обидах, о которых нужно еще рассказать и еще раз проститься, и сделать это нужно скорее, сейчас, потому что уходит человек навсегда, и оставить по себе много боли, которая долго еще будет мучить, и может быть в старости не позволит ночами заснуть. Снова шел снег, но уже сухой и холодный, ветер мотал фонарь, и на бульваре тени от деревьев дружно виляли, как хвосты. Зиночка давно уже зашла за угол, Зиночки давно уже не было вид-

но, но все снова и снова воображением я возвращал ее к себе, отпуская до угла, смотрел на ее удаляющуюся спину, и опять, почему-то спиной, она прилетала ко мне обратно. А когда, наконец, случайно промахнувшись карману, я звякнул в нем ее неиспользованными десятью серебряными пяточками, и тут же вспомнил ее губки и голосок ее, когда она сказала — долго я их собирала, говорят, они к счастью, — то это было, как хлыст по моему подлому сердцу, хлыст, который заставил меня бежать, бежать вслед за Зиночкой, бежать по глубокому снегу в той расслабленной слезливости, когда бежишь во след двинувшемуся и последнему поезду, бежишь и знаешь, что догнать его не сумеешь.

В эту ночь я еще долго бродил по бульварам, в эту ночь я дал себе слово — на всю жизнь, на всю жизнь сохранить Зиночкины серебряные пяточки. Зиночку же я так больше никогда и не встретил. Велика Москва и много в ней народу.

3.

Водительскую головку нашего класса составляли Штейн, Егоров и, как мне тогда хотелось казаться, — я сам.

Со Штейном я был дружен, с постоянным беспокорством чувствуя при этом, что, как только я перестану напрягать в себе эту дружбу к нему, так тотчас возненавижу его. Белобрысый, безбровый, с уже намечавшейся плешью, — Штейн был сыном богатого еврея-меховщика и лучшим учеником в классе. Преподаватели вызывали его весьма редко, с годами удостоверившись, что знания его безукоризненны. Но когда преподаватель, заглянув в журнал, говорил — Шштейн, — весь класс как-то по-особому затихал. Штейн, сорвавшись с парты с таким шумом, словно его там кто держал, быстро выходил из ряда парт и, чуть не опрокинувшись на тонких и длинных ножищах — далеко от кафедры становился так косо к полу, что, если бы провели прямую линию от его носков вверх, она вышла бы из острия его узкого и худого плеча, у которого он молитвенно складывал громадные свои белые руки. Стоя косо, всей тяжестью своей на одной ноге, другой лишь носком ботинка (будто эта нога была короче) прикасаясь к полу, — бабьеподобный, неуклюже изломанный, но никак не смешной, изображая голосом — при ответах — рвущую его вперед, словно от избытка знаний, торопливость, — а при выслушивании задаваемых ему вопросов — небрежную снисходительность, он, блистательно пробарабанив свой ответ, в ожидании благосклонного «садитесь», всегда старался смотреть мимо класса — в окно, при этом словно что-то жуя или шепча губами. Когда же, так же сорвавшись, по скользкому паркету он быстро шел на место, то шумно садился и, ни на кого не глядя, сейчас же начинал что-то писать или ковырять в парте до тех пор, пока общее внимание не отвлекалось следующим вызовом.

Когда в переменах рассказывалось что-либо смешное и когда момент общего смеха заставлял Штейна сидящим за партой, то, откидывая голову назад, он закрывал глаза, морщил лицо, изображая свое страдание от смеха, и при этом быстро-быстро стучал ребром кулака о парту, стуком этим как бы стараясь отвлечь от себя душивший его смех. Но смех только душил его: губы были сжаты и не издавали ни звука. Потом, выждав когда другие отсмеялись, он открывал глаза, вытирал их платком и произносил — уфф.

Его увлечениями, о которых он нам рассказывал, были балет и «дом» Марьи Ивановны в Косом переулке. Его любимой поговоркой было выражение: — надо быть европейцем. Выражение это он кстати и некстати употреблял постоянно. — Надо быть европейцем, — говорил он, являясь и показывая на часах, что пришел в точности за одну минуту до чтения молитвы. — Надо быть европейцем, — говорил он, рассказав о том, что был прошлым вечером в балете и сидел в литерной ложе. — Надо быть европейцем, — добавлял он, намекая на то, что после балета поехал к Марье Ивановне. Только позднее,

когда Егоров стал шибко допекать, Штейн поотвык от этого своего любимого выражения.

Егоров был тоже богат. Он был сыном казанского лесопромышленника, очень холеный, надушенный, с белым зубцом пробора до самой шеи, со склеенными и блестящими, как полированное дерево, желтыми волосами, которые, если отклеивались, так уж целым пластом. Он был бы красив, если бы не глаза, водянистые и круглые, стеклянные глаза птицы, делавшиеся пугливо изумленными, лишь только лицо становилось серьезным. За первые месяцы своего поступления в гимназию, когда Егоров был как-то уж особенно народно простоват и даже называл себя Ягорушкой, он был кем-то сокращенно прозван Яг, и прозвище это за ним осталось.

Яга привезли в Москву уже четырнадцатилетним парнем, и потому он был определен в гимназию сразу в четвертый класс. Привел его к нам классный надзиратель утром, еще до занятий, и сразу предложил ему прочесть молитву, в то время как двадцать пять пар насторожившихся глаз неотлучно смотрели, напряженно выискивая в нем все то, над чем можно было бы посмеяться.

Обычно молитва читалась монотонной скороговоркой, отзываясь в нас привычной необходимостью встать, полминуты стоять и, грохнув партами, садиться. Яг же начал читать молитву отчетливо и неестественно проникновенно, при этом крестился не так, как все, смахивая с носа муху, а истово, закрывая глаза, при этом клал театральные поклоны, и снова закидывая голову, мутными глазами искал высоко подвешенную классную икону. И тотчас раздалась смешки, у всех явилось подозрение, что это шуточка, — и подозрение это перешло в уверенность, а разрозненные смешки в хороший хохот, лишь только Яг, оборвав слова молитвы, обвел всех нас цыплячьим своим, испуганно изумленным взглядом. Классный же наставник разволновался весьма и кричал на Яга и на нас всех, что если подобное случится еще и впредь, то он доведет дело до совета. И только через неделю, когда уже все знали, что Яг из очень религиозной, ранее старообрядческой, семьи, — то как-то раз, уже после занятий, этот же классный наставник, уже старый человек, покраснев как юноша, внезапно подошел к Ягу и, взяв его за руку и глядя в сторону, отрывисто сказал: — вы, Егоров, меня пожалуйста, простите. И, не сказав больше ничего, резко вырвал свою руку и весь сгорбленный, уже удаляясь по коридору, он делал руками такие движения, словно схватывал что-то с потолка и резко швырял на пол. А Яг отошел к окну и, стоя к нам спиной, долго сморкался.

Но это было только вначале. В старших классах Яг, по выражению начальства, сильно испортился, и стал часто и много пить. Приходя утром в класс, он нарочно делал круг, подходил к парте, где сидел Штейн, и, грозно рыгнув, гнал все это, как дорогой сигарный дым, к штейновскому носу. — Надо быть европейцем, — пояснял он окружающим. Хотя Яг жил в Москве совершенно один, снимал в особняке дорогие комнаты, получал из дому видимо много денег и часто появлялся на лихачах с женщинами, — он все же учился ровно и очень хорошо, считался одним из лучших учеников, и только немногим было известно, что он, чуть ли не по всем предметам, пользуется репетиторской подмогой.

Можно было бы сказать, что к нам троим — Штейну, Ягу, и мне, этой, как про нас говорили, классной головке, — весь остальной класс примыкал так, как к намагниченному бруску примыкает двумя концами приставленное копыто. Одним своим концом копыто примыкало к нам своим лучшим учеником и, удаляясь от нас по копытному кругу, согласно понижающимся отметкам учеников, снова возвращаясь, соприкасалось с нами другим своим концом, на котором был худший ученик и бездельник. Мы же, головка, как бы сопрягали в себе основные признаки и того и другого: имея отметки лучшего, были у начальства на счету худшего.

Со стороны лучших учеников к нам примыкал Айзенберг. Со стороны бездельников Такаджиев.

Айзенберг, или как его звали «тишайший» был скром-

ный, очень прилежный и очень застенчивый еврейский мальчик. У него была странная привычка: прежде чем что-либо сказать или ответить на вопрос, — он проглатывал слюну, подталкивая ее наклоном головы, и, проглотив, произносил — мте. Все считали необходимым издеваться над его половым воздержанием (хотя истинность этого воздержания никем не могла быть проверена и меньше всего утверждалась им самим), и часто во время перемены обступившая его толпа, с требованием — а ну, Айзенберг, покажи-ка нам твою последнюю любовницу — внимательно рассматривала ладони его рук.

Когда Айзенберг говорил с кем-нибудь из нас, то непременно как-то вниз и вбок наклонял голову, скашивал в сторону крапивного цвета глаза и прикрывал рукою рот.

Такаджиев был самым старшим и самым рослым в классе. Этот армянин пользовался всеобщей любовью за свое удивительное умение переносить объект насмешки с себя самого всецело на ту скверную отметку, которую он получал, при этом, в отличие от других, никогда не злобствуя на преподавателя и сам веселясь больше всех других. У него тоже, как и у Штейна, было свое любимое выраженье, которое возникло при следующих обстоятельствах. Однажды, при раздаче проверенных тетрадей, преподаватель словесности, добродушный умница Семенов, отдавая тетрадь Такаджиеву и лукаво постреливая глазками, заявил ему, что, несмотря на то, что сочинение написано прекрасно и что в сочинении имеется лишь одна незначительная ошибка — неправильно поставленная запятая, он, Семенов, принужден именно за эту-то ничтожную ошибку поставить Такаджиеву кол. Причину же столь несправедливой, на первый взгляд, отметки должно видеть в том, что Такаджиевское сочинение слово в слово совпадает с сочинением Айзенберга, как равно совпадают в них — и это особенно таинственно — неправильно поставленные запятые. И добавив свое любимое — видно сокола по полету, а молодца по соплям — Семенов отдал Такаджиеву тетрадь. Но Такаджиев, получив тетрадь, продолжал стоять у кафедры. Он еще раз переспросил Семенова — возможно ли, так ли он его понял, и как же это мыслимо, чтобы так-таки совершенно совпали эти неправильно поставленные запятые. Получив тетрадь Айзенберга для сличения, он долго листал, со все растущим в лице изумлением что-то сверять и отыскивать, и, наконец, уже в совершенном недоумении, глянув сперва на нас, приготовившихся грохнуть хохотом, медленно-медленно поворотил изумленно выпученные глаза прямо на Семенова. — Такая сафпадение, — трагически прошептал он, поднял плечи и опустил углы губ. Кол был поставлен, цена была как бы заплачена, и Такаджиев, на самом деле прекрасно владевший русским языком, просто пользовался случаем, чтобы повеселить друзей, самого себя, да кстати и словесника, который, несмотря на жесткую суровость отметок, любил смеяться.

Таковы были точки нашего с концами примыкавшего к нам классного копыта, в котором все остальные ученики казались тем более отдаленными и потому бесцветными, чем ближе размещались они к середине копыта, вследствие извечной борьбы между двойкой и тройкой. Вот в этой-то далекой и чуждой нам среде находился Василий Буркевиц, низкорослый, угреватый и вихрастый малый, когда случилось с ним происшествие, весьма необычное в спокойной и крепко налаженной жизни нашей старой гимназии.

4.

Мы были в пятом классе и был урок немецкого языка, который нам преподавал фон-Фолькман, совершенно лысый человек с красным лицом и белыми мазеповскими со ржавчиной усами. Он сперва спрашивал Буркевица с места (он его называл Буркевиц, ставя ударение на «у»), но так как кто-то навязчиво и громко суфлировал, то Фолькман рассердился, морковный цвет лица сразу стал свекольным и, приказав Буркевицу отойти от парты и встать у доски, буркнув — *Verdammt* *Bummele!* — он

уже любовно тянул себя за тормоз своей злобы — свой бело-рыжий ус. Встав у доски, Буркевиц хотел было отвечать, как вдруг случилось с ним нечто в высшей степени неприятное. Зачихнул, ночихнул так несчастливо, что из носа его вылетели брызги и качаясь повисли чуть ли не до пояса. Все захихикали.

— Was ist denn wieder los — спросил Фолькман и, обернувшись и увидев, добавил: — Na, ich danke.

Буркевиц, налитый кровью стыда и потом сразу бледнея до зелени, трясущимися руками шарил по карманам. Но платка при нем не оказалось. — А ты, милой, оборвал бы там свои устрицы, заметил Яг, — Бог милостив, а нам нынче еще обедать надо. — Такая сафпадне, — изумлялся Такаджиев. Весь класс уже ревел от хохота, и Буркевиц, растерянный и ужасно жалкий, выбежал в коридор. Фолькман же, карандашом стуча по столу, все кричал — Rruhe — но в общем грохоте было слышно только рычание первой буквы — звук, изумительно иллюстрировавший выражение его глаз, которые выпучились уже так, что страх мы испытывали не столько за нас, сколько за самого Фолькмана.

На следующий день, однако, когда снова был урок немецкого языка, Фолькман, на этот раз, будучи видимо хорошо настроен и решив посмеяться, опять вызвал Буркевица. — Barkewitz! Ubersetzen Sie weiter — приказал он, с притворным ужасом добавив: aber selbstverständlich nur im Falle, wenn Sie heut'n Taschentuch besitzen.

У Фолькмана было замечательно то, что только по смыслу предшествующих событий можно было догадаться — кашляет ли он или смеется. И, завидя теперь, как он, после сказанных им слов, широко раскрыв рот, выпускал оттуда клокочущую, хрипящую и булькающую струю, — как ржавые кончики его усов приподнимались, словно из рта у него шел страшный ветер, и как на его, ставшей малиновой, лысине вздулась, толщиною с карандаш, лиловая жила, — весь класс дико и надрывно захохотал. Штейн же, откинув голову, со страдальчески закрытыми глазами, шибко стучал ребром своего белого кулака о парту, и лишь после того, как все успокоилось, вытер глаза и сделал уфф.

Только спустя несколько месяцев мы поняли, до чего жесток, несправедлив и неуместен был этот хохот.

Дело в том, что, когда случилась эта неприятность с Буркевицем, он в класс не вернулся, а на следующий день явился с чужим, с деревяннм лицом. С этого дня класс перестал для него жить, он будто похоронил нас, и, вероятно, и мы бы спустя короткое время о нем бы забыли, если бы уже через неделю-другую и нами и преподавателями не было бы замечено нечто чрезвычайно странное.

Странность же эта заключалась в том, что Буркевиц, троечник и двоечник Буркевиц, начал вдруг неожиданно и крепко сдвигаться с середины классного копыта, и сперва очень медленно, а потом все быстрее и быстрее, двигаться по этому копыту в сторону Айзенберга и Штейна.

Сперва это продвижение шло очень медленно и туго. Излишне говорить о том, что даже при системе отметок преподаватель руководствуется обычно не столько тем знанием ученика, которое тот обнаруживает в момент вызова, сколько той репутацией знаний, которую ученик этот себе годами создал. Случалось, хотя и очень редко, что единичные ответы Штейна или Айзенберга, были настолько слабы, что, будь на их месте Такаджиев, он безусловно получил бы тройку. Но так как это были Айзенберг и Штейн, зарекомендованные годами пятерочники, то преподаватель, даже за такие их ответы, хотя быть может и скрепя сердцем, ставил им пять. Обвинять преподавателей за это в несправедливости — было бы столь же справедливо, как обвинять в несправедливости весь мир. Ведь сплошь да рядом уже случалось, что зарекомендованные знаменитости, эти пятерочники изящных искусств, получали у своих критиков восторженные отзывы даже за такие слабые и безалаберные вещи, что будь они созданы кем-нибудь другим, безымянным, то разве что в лучшем случае он мог бы рассчитывать на такаджиевскую

тройку. Главной же трудностью Буркевица была не его безымянность, а что гораздо хуже, годами установившаяся репутация посредственного троечника, и вот эта репутация посредственности особенно мешала ему двигаться и стояла перед ним нерушимой стеной.

Но, конечно, все это было только первое время. Уж такая вообще психология пятибалльной системы, что от тройки до четверки — это океан переплыть, а от четверки до пятерки — рукой подать. Между тем Буркевиц все пер. Медленно и упорно, не отступая ни на пядь, все вперед, двигался он по изгибу, все ближе и ближе к Айзенбергу, все ближе и ближе к Штейну. К концу учебного года (история с чихом приключилась в январе) он был уже близ Айзенберга, хотя и не смог с ним сравниться за недостатком времени. Но когда с последнего экзамена Буркевиц, все с тем же деревянным лицом и ни с кем не прощаясь, прошел в раздевальню, мы все же никак не предполагали, что станем свидетелями трудной борьбы, борьбы за первенство, которая завяжется с первых же дней будущего учебного года.

5.

Борьба началась с первых же дней. С одной стороны Василий Буркевиц, — с другой Айзенберг и Штейн. На первый взгляд борьба эта могла показаться бессмысленной: и Буркевиц, и Айзенберг, и Штейн не имели, кроме пятерок, других отметок. И все же шла борьба, напряженная и жаркая, и причем борьба эта шла за ту невидимую надбавку к пятерке, за то наивысшее перерастание этой оценки, которое, хотя и нельзя было изобразить в классном журнале, но которое остро чувствовалось и классом и преподавателями, и которое поэтому служило тем хвостом, длиной коего определялось первенство.

С особенной внимательностью относился к этому соревнованию преподаватель истории, и случалось даже так, что в течение одного урока он вызывал подряд всех троих: Айзенберга, Штейна и Буркевица. Никогда не забыть мне этой электрической тишины в классной комнате, этих влажных, жадных и горячих у всех глаз, этого затаенного и потому тем более буйного волнения, и кажется мне, что совершенно также переживали бы мы бой быков, когда бы были лишены возможности криками высказывать наши чувства.

Сперва выходил Айзенберг. Этот маленький честный труженик знал все. Он знал все, что нужно, он знал даже больше этого, даже свыше того, что от него требовалось. Но в то же время, как знания, которые от него требовались текущим уроком, выражались хоть и в безукоризненном, хоть и в точном, хоть и в безошибочном, — но все же не более, как в сухом перечне исторических событий, — так равно и те знания, которые от него вовсе не требовались, и коими он желал блеснуть, выражались лишь в забегании вперед в хронологическую даль еще не пройденных уроков.

Потом быстро, как всегда, выходил Штейн, скривив всю комнату своей косою фигурой. Снова тот же вопрос, что и Айзенбергу, и Штейн начинал мастерски барабанивать. Это был уже не Айзенберг, с его глотаниями слюны и корявыми «мте», которыми тот начинал свои красные строки. В некотором смысле то, что давал Штейн, было даже блестяще. Он трещал, как многосильный мотор, обильные летели искры иностранных слов, не замедляя речи, как хорошо подстроенные мосты, приносили до наших ушей все, позволяя приятно отдышаться, ничуть не заставляя вслушиваться или напрягаться, и в то же время не давая выплеснуться в пустоту ни единой звуковой капле. В довершение ко всему, уже заканчивая, Штейн в блестящем резюмэ своего рассказа давал нам прозрачно понять, что он, Штейн, человек нынешнего века, хоть и рассказывает все это, однако, на самом деле только нисходит и относится свысока к людям минувших эпох. Что он, к услугам которого имеются теперь и автомобили, и аэропланы, и центральное отопление, и международное общество спальных вагонов, считает себя в полном

праве смотреть свысока на людей времен лошадиной тяги, и что если он и изучает этих людей, так разве уж для того, чтобы лишний раз убедиться в величии нашего изобретательского века.

И, наконец, Василий Буркевиц, и снова тот же вопрос, что и первым двум. С первых слов Буркевиц разочаровывал. Уж как-то очень сухо намечал он дорогу своего рассказа, и уши наши были избалованы и ждали штейновского чеканного барабана. Но уже после нескольких оборотов Буркевиц, как бы невзначай, упоминал мелкую подробность быта той эпохи, о которой рассказывал, словно вдруг замахнувшись швыряя пышную розу на горбы исторических могил. После первой бытовой черты следовали также одиноко, как капля перед грозой, вторая, и потом третья, и потом много, и, наконец, уже целым дождем, так что в развитии событий он все медленнее и трудней продвигался вперед. И старые могилы, словно разукрашенные легшими на них цветами, уже казались совсем недавними, еще незабытыми, свежесмытыми, вчерашними. Это было начало.

Но лишь только в силу этого начала приближались к нам, подъезжали к нам вплотную и старые дома, и старые люди, и деятельность старых эпох, как тотчас опровергалась штейновская точка зрения, возвеличивавшая нынешнюю эпоху над миновавшей-де потому, что для расстояния, преодолеваемого нынче люксом-экспрессом в двадцать часов, потребовалось бы в то далекое время лошадиной тяги больше недели. Ловким, мало напоминающим предумышленность оцеплением сегодняшнего и тогдашнего быта, Буркевиц, не утверждая этого, все же заставлял нас понять, что Штейн заблуждается. Что отличие между людьми, жившими во времена лошадиной тяги и живущими теперь, в эпоху технических усовершенствований, — отличие, которое, как полагает Штейн, дает ему, человеку нынешнего века, право возвеличивать себя над людьми миновавших эпох, — в действительности вовсе не существует, — что никакого отличия между человеком нынешним и прошлой эпохи нет, что, напротив, всякое различие между ними отсутствует, и что именно отсутствием отличия и объясняется поразительное сходство человеческих взаимоотношений и тогда, когда расстояние одолевалось за неделю, и теперь, когда оно покрывается в двадцать часов. Что как теперь очень богатые люди, одетые в дорогие одежды, едут в международных спальных вагонах, — так и тогда, хотя и иначе, но тоже очень богато одетые люди ехали в шелками обитых каретах и укутанные соболями; что как теперь есть люди, если не очень богато, то все же очень хорошо одетые, едущие во втором классе, цель жизни которых — это добыть возможность поездок в спальном вагоне, так и тогда были люди, ехавшие в менее дорогих экипажах и укутанные лисьими шкурками, цель жизни которых состояла в том, чтобы приобрести еще более дорогую карету, а лисы сменить соболями; что как теперь есть люди, едущие в третьем классе, не имеющие чем заплатить доплату за скорость, и обреченные страдать от жестких досок почтового, так и тогда были люди, не имеющие ни денег, ни чина, потому тем дольше кусаемые клопами смотрительского дивана; что, наконец, как теперь есть люди, голодные, жалкие, и в лохмотьях, шагающие по шпалам, так и тогда были люди такие же голодные, такие же жалкие, в таких же лохмотьях бредущие по почтовому тракту. Давно уже сгнили шелка, развалились, рассыпались кареты, и сожрала моль соболя, а люди словно остались все те же, словно и не умирали, и все так же мелко гордятся, завистничая и враждая, взошли в сегодняшний день. И не было уже штейновского игрушечного прошлого, уменьшенного нынешним паровозом и электричеством, потому что придвигаемое к нам буркевицевской силой это прошлое прини-

мало явственные очертания нашего сегодняшнего дня. Но снова переходя к событиям, снова вводя в них бытовые черты, сличая их с характерами и действиями отдельных лиц, Буркевиц упорно и уверенно гнул в нужную ему сторону. Эта кривая его рассказа, после многих и режущих сопоставлений, нисколько не вступая в утверждение и потому приобретая еще большую убедительность, сводилась к тому выводу, которого сам он не делал, предоставляя его сделать нам, и который заключался в том-де, что в прошлом, в этом далеком прошлом — нельзя не заметить, нельзя не увидеть возмутительную и кощунственную несправедливость: несоответствие между достоинствами и недостатками людей, и облегающими их, одних соболями, других лохмотьями. Это в прошлом. На настоящее он уже и не намекал, словно крепко зная, как хорошо, как досконально известно нам это возмутительное несоответствие в нашем сегодня. Но паутина уже сплетена. По ее путанным, стальным и неломающимся прутьям, по которым все мы уверенно шли, не могли не идти вслед за Буркевицем, — мы приходили к непоколебимой уверенности в том, что как прежде, — во времена лошадиной тяги, так и теперь во времена паровозов, — жить человеку глупому легче, чем умному, хитрому лучше, чем честно-му, жадному вольготней, чем доброму, жестокому милее, чем слабому, властному роскошней, чем смиренному, лживому сытнее, чем праведнику, и сластолюбцу слаще, чем постнику. Что так это было, и так это будет вечно, пока жив на земле человек.

Класс не дышал. В комнате было чуть не тридцать человек, а я отчетливо слышал, как цокали запрещенные начальством часы в кармане соседа. Историк сидел на кафедре, щурил рыжие ресницы в журнал, изредка так морщась и поскребывая всей пятерней бородку, словно говорил: — вот так гусь лапчатый.

Буркевиц заканчивал свой рассказ напоминанием о той болезни, которая, развиваясь много веков, постепенно охватывала человеческое общество, и которая, наконец, теперь, в нынешнюю эпоху технических совершенствований, уже повсеместно заразила человека. Эта болезнь — пошлость. Пошлость, которая заключается в способности человека относиться с презрением ко всему тому, чего он не понимает, причем глубина этой пошлости увеличивается по мере роста никчемности и ничтожества тех предметов, вещей и явлений, которые в этом человеке вызывают восхищение.

И мы понимали. Это был меткий камень в штейновскую морду, которая как раз в это время что-то усиленно разыскивала в парте, зная, что теперь все глаза обращены на нее.

Но понимая, в кого брошен камень, мы также понимали и нечто другое. Это другое заключалось в понимании того, что эта, казалось бы безнадежная, веками налаженная несправедливость людских отношений, о которых намеками рассказывал Буркевиц, нисколько не повергает ни его самого ни в уныние, ни в бешенство, а является как бы тем горючим, нарочно для него приготовленным веществом, которое, вливаясь в его нутро, не дает разрушающего взрыва, а горит в нем ровным, спокойным и шибким огнем. Мы смотрели на его ноги в стоптанных нечищенных ботинках, на потертые брюки с неуклюже выбитыми коленями, на его шарами налитые скулы, крошечные серые глаза и костистый лоб под шоколадными вихрами, и чувствовали, чувствовали непреодолимо и остро, как бродит и прет в нем страшная русская сила, которой нет ни препон, ни застав, ни заград, сила одинокая, угрюмая и стальная.

(Продолжение следует)

Август N'6



Иллюстрация АЙВАРСА РУКШМАНИСА к роману
М. Агева «Роман с кокаином»

Оформитель I, IV обложки —
Оярс Петерсонс
«Родник» № 6, 1989, 1—80

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,

